

# ГАВРИИЛ ПОТАНИН

## Волжский роман



# Крепостное право

Старое старится, молодое растет

Волжский роман

Гавриил Потанин

**Крепостное право. Старое  
старится, молодое растёт**

«ВЕЧЕ»

1861

УДК 821.161.1-311.6

ББК 84(2Рос=Рус)1

## **Потанин Г. Н.**

Крепостное право. Старое старится, молодое растет /  
Г. Н. Потанин — «ВЕЧЕ», 1861 — (Волжский роман)

ISBN 978-5-4484-5552-0

Роман Гавриила Потанина стал заметным явлением в русской литературе середины XIX столетия, литературные критики дали блестящие отзывы, автору аплодировал сам Николай Некрасов, а в одном из номеров журнала «Сын отечества» было сказано: «Роман нового писателя, г. Потанина, далеко незаурядное явление; в нем такой тонкий психологический анализ, что автора не обинуясь можно сравнить с Диккенсом». В основе сюжета - судьба крепостного мальчика Васи, от самого его рождения до отрочества протекающая в атмосфере помещичьего дома с патриархальным укладом и добродушным русским барином, среди детских шалостей и проказ, под чутким приглядом строгих родителей и доморощенных учителей. Начальные двенадцать глав романа были опубликованы в четырех номерах журнала «Современник» за 1861 год, однако заглавие «Крепостное право» по цензурным причинам пришлось изменить на «Старое старится, молодое растет». В настоящем издании роману возвращено авторское название.

УДК 821.161.1-311.6

ББК 84(2Рос=Рус)1

ISBN 978-5-4484-5552-0

© Потанин Г. Н., 1861

© ВЕЧЕ, 1861

# Содержание

Глава I	6
Глава II	20
Глава III	35
Глава IV	50
Конец ознакомительного фрагмента.	64

**Гавриил Потанин**  
**Крепостное право (Старое**  
**старится, молодое растет)**

© ООО «Издательство «Вече», 2025

\* \* \*

## Глава I

Все начинается с начала, – начну же и я с него. Мой мальчик родился. Ничто не предшествовало его обыкновенному рождению: не готовились за полгода, не толковали об этом за целый месяц, не приглашали ни акушеров, ни ученых по книгам повивальных бабок, не шушукали в девичьей барыньки с девками, не ходили даже слуги на цыпочках и не орали во все горло: «Тише ты, леший! что ломишься? барыня-то тово»... Словом, не было этого ничего. Мать попросту, без затей, родила его в бане; бабушка-повитушка, поймавши на руку нового живого человечка, с любовью перевернула его вверх брюшком; посмотрела на красного шевелящегося рака; перекрестила его большим крестом «во имя Отца и Сына и Святого Духа» и не утерпела – напорочила, что он будет счастливцем, потому что родился в сорочке. Мало того, она в то же время успела и пошутить с новеньким внучком своим, лежащим в корыте и, пересыпая все это молитвами, назвала его даже кряхтелкой и самодовольно над ним проворчала: «О, чтоб те, Христос с тобой! Какой крикун-то вышел».

Эта девяностодевятилетняя бабушка-пророчица называлась Сампсониха, и сам полицмейстер не был столько известен дворникам и купцам, как Сампсониха всему городу по женской линии. Все будущее второе поколение выкладывалось на руки Сампсонихе, как будто все родители хотели сказать ей: «На, бери и коверкай наших ребятишек, как ты там знаешь, по-своему».

Впрочем, надобно отдать и справедливость Сампсонихе. Никто так ловко не умел швырять под церковь пупочек детский, затем, чтоб новорожденный внучек ее был преклонен к церкви; никто так важно и пользительно не умел спрыскивать ребятишек от глаза или притки; никто так наставительно не поучал молодых супругов и матерей обходиться с новорожденными, как бабушка Сампсониха. Все эти детские крики, притки, грыжи, младенческие собачьи старости и всякие лихие болести Сампсониха знала решительно как пять своих пальцев: а что касается до лечения этих детских недугов, так даже сама полицмейстерша, и та присылала за Сампсонихой в ту решительную минуту, когда молодой ее доктор, прописавши все рецепты, разводил наконец над ребенком руками да только ахал. Ну, да нам нечего высчитывать великие достоинства многолетней опытности бабушки-повитушки, – вам достаточно сказать одно: к Сампсонихе обращались за советом и в ту несчастную минуту, когда молодым супругам не давал Господь бог детей. И в ту несчастную минуту Сампсониха отделялась как будто смешками, да все как-то шутя приговаривала: «Ну, уж на этот счет будьте у меня без сумления; я вам докладываю, что мной останетесь оба предовольны; у меня есть спрыг-трава, так не только что иное – замки железные и те без ключа раскидываются на двое; а это? – тьфу! прости Господи! – вот что мне это ваше дело; – стоит только вон мой корешок волшебный подпустить, так сию минуточку, все так само собой и удалится»...

Вот какова была Сампсониха.

Что же касается до того, чтоб, например, приворожить доброго молодца, или заставить полюбить красную девицу! так на этот счет у Сампсонихи была тоже приворот-трава, которая просто за пятак, так приковывала на всю жизнь одного человека к другому, как собачонку на цепь. Как же за все за это не чтить было Сампсониху? Не дивитесь же после того, что Сампсониха обходилась с новорожденными своими внучатами вовсе не церемонясь. Вот и теперь: растопырив пеленочку, она принялась укладывать в нее маленькую каракулю, а чтобы внучек ее не барахтался, она сперва вытянула его за ноги, по-солдатски, потом так подсунула ему в брюхо, что тот, бедный, крикнул и наконец, свернув его в трубку, прибавила в знак любезности: «Наткось, постреленыш, ишь, какой, не дается еще, – корючится туда же!» – Затем Сампсониха принялась затягивать внучка своего покровкой и наконец так его закрутила, как закручивают у вас одних только баянов на Масленице, такие наvertsела на него вериги мученические

и такие подворотила под него рубчатые подгузки, на случай всякий, что у маленького вытаращились даже глазенки и так разинулся ротишко, как будто он усиливался выговорить Сампсонихе: «Что ты, старуха? из ума, что ли, выживаешь? Ведь ты меня задушишь, наконец!» За что Сампсониха, перекрестивши еще разочек внучка своего, прихватила его еще и за нос, в знак какой-то чертовщины, а потом, пошептавши еще молитвы и показавши его матери, чтоб и та улыбнулась на свое произведение, засунула его наконец в темный угол и, нахлобучивая шубенкой, шепнула ему на ухо: «Ну теперича спи, Христос с тобой!»

Но в том-то и дело, что маленькому живому человечку уже не спалось. Он верно понял, что значит жить, и потому для начала опять крикнул, а затем закатился во все горло кричать. Из этого бестолкового крику бабушка вывела разом два мудрых заключения: первое, следует дать ребенку жвачку, называемую сосочкой, что Сампсониха тотчас устраивала сама из жеванной моркови и хлеба с солью; второе, следует ребенка скорее «окснуть», авось он тогда будет помирнее. Со вторым Сампсониха обратилась к отцу и даже настрашала его, что внучек ее, пожалуй, этак до крещения и с крику зайдется.

– Окснуть, – говорит, – надо, да и порешать все разом.

«Вот это так дело», – подумал отец и пошел искать куму да кума.

Как обыкновенно это всегда бывает, нашел он кума вместе с кумою, и в тот же день за вечерню кум да кума, да бабушка-наставница потащили маленького нехрестя в церковь, там окрестили его в холодной воде и молодой поп назвал его Василием. Старая Сампсониха не любила молодых безбородых попов, и потому оказалась чем-то недовольна и сердита. Старуха даже нахмурилась, когда подступила к молодому попу с запросом, чтобы тот растолковал ей: «Простой ли внук ее Василий, или Василий Блаженный, или Василий Великий, который живет как-то о святках, под новый или на новый год?» – На что поп молодой ласково начал толковать неотвязчивой старушонке, что внук ее отнюдь не простой Василий, а именно Великий, тот самый, который живет на святках и бывает именинник на другой день Васильева вечера. Толкование Сампсониха верно поняла ясно, потому что, уходя, поклонилась стриженному попу так низко, как только кланяются старые маркизы своим бритым молодым аббатам.

Дорогою кум, перекрестясь на паперти, с улыбкой заметил было куме, что у них теперь завелся новый сынок крестный – Вася; кума без улыбки ответила куму: «Слава богу; жаль только, что дети-то все мрут у них; шутка ли, вот уж это, кажется, пятнадцатый!» На что Сампсониха тотчас строго плюнула через плечо, налево, важно прошептала над своим внучком какую-то молитву и как будто про себя добавила: «Не пятнадцатый, а семнадцатый, и все мой». Тем и кончился весь разговор над новым христианином.

Крошку Васю из церкви определили в избу. Там за курником<sup>1</sup> пожелали отцу с матерью вырастить сына большим, а Сампсонихе, за бабушкиной кашей, пожелали внука женить да побывать у внучат его тоже на покое. Там же крошечный Вася начал помаленьку осматриваться да оглядываться, да знакомиться со всякой всячиной, как всякий из нас на новом месте, или в новом городе. К счастью же Васи, тятя с мамой были люди самые простые, они вовсе не думали о том, что такое сквозные ветры, да простуды, да скарлатины, да всякая весенняя и осенняя дрянь, без разбору нападающая на детей боярских, а потому и не так-то заботливо и мучительно укрывали сыночка от холоду и свету, что-то слишком скоро выпустили его на свет божий – ко всей дворне на руки. И пошел Вася в ход, как новый медный грош, которым всякий любителюется сначала.

Вот как началось воспитание ребенка. Сперва заботливый отец выбрал место и ввернул в матицу кольцо, чтоб Васю своего повесить. В кольцо это он продел веревку, повисел сперва на ней сам, а потом уверил Сампсониху, что внучек ее не сорвется. К веревке этой Сампсониха подцепила какую-то четырехугольную штуку, похожую на маленький чердачок на беседке, где,

---

<sup>1</sup> Курник – пирог куполообразной формы с начинкой из курятины.

вместо крыши, исправляла должность красная мамина юбка, а вместо стропил – четыре белые сыромятные ремни. В беседке этой Сампсониха с молитвой устроила новому внучку своему постельку, да такую спокойную, что на ней можно было засыпать решительно так же беззаботно, как курочке на шесточке, и стоило только не вертеться, то решительно никогда не выпадешь и не бякнешься<sup>2</sup> земляным комом об пол. В новое жилище Васи первая залезла по пояс Сампсониха сама и, несмотря на ее вечным потоком журчащие молитвы, не вытерпела – выбрала там кума скупущим жидомором, за то будто бы, что тот положил такой толстый посеребренный крест такому славному внуку, каков был у нее Вася. Впрочем, крест этот, с материнским образком Богородицы, Сампсониха прицепила к сыромятному ремню, чтобы бестолковый Вася почаще посматривал на бога; на шею же новому христианину, вместо креста, которые будто бы все упирается в бок, Сампсониха повесила на гайтан<sup>3</sup> змеиную головку, или куколку, затем, чтоб у маленького легче резались зубы. А в куколку, как в ухо, Сампсониха еще и пошептала.

За Сампсонихой тотчас полезли в колыбельку к Васе и прочие старухи; те, посматривая бестолковому в глаза, толковали ему все какие-то «агунюшки» да «гулюшки», да попаивали его молочишком из рожочка жестяного, до того зеленого внутри, как сама венецийская ярь<sup>4</sup>. Потом принялись за Васю и молодые бабенки; те даже отрезывали и пальцы от старых барыниных перчаток, да устраивали из этих пальцев лайковых подобие каких-то сосцев, которые засыхали на рожке и делались там жестки, как сапожишки, размоченные в бугульминской грязи. Эти питательные сосцы зубастые бабенки разгрызали, как орехи, и, таким образом уже размягчивши, смело засовывали их в рот Васе. Если же и это наконец было Васе не по вкусу, и он начинал выталкивать угощение изо рта языком, то бабенки принимались кормить его жеваной кашей с пальца, тютюшкать да пришлепывать, чтобы она, родная, поплотнее укладывалась в чемодан маленького человечка. Таким-то образом скоро наконец познакомилась с Васей и вся дворня, и все стали покармливать его соленным и горьким, кислым и пресным, и всем, чего только хотел маленький забавник. Стали иногда даже тормозить мякенького Васю так, что он у них крикал, стали иногда утешать его от плача, приговаривая уже, как, человеку толковому: «А вон огонек-то какой красненький, смотри-ка; а вон собачка-то, ав, ав, как полаивает, слушай-ка!» И Вася все смотрел и все слушал, а иногда и сам задумывал выразить свое собственное мнение – болтал языком непонятный вздор, что бабы и старухи находили не только очень толковым и забавным, а даже уверяли всех, что Вася начинает намекать, – значит, скоро будет говорить. А одна голосистая бабенка даже взвизгнула, когда здоровый и развитый Вася в первый раз задумал показать ей свой талант и двинулся по избе на своих запятках, как на салазках; она даже турманом полетела на погреб, чтоб рассказать матери, как Вася ее выкинул новую штуку – ползет.

За такие таланты Вася, тятя и мама служили ему как верные слуги. Чуть лишь проснется сыночек, все уж готово: и титя, и рожок, и тюря, и горшок с кашей, и кусочек сахарцу, и все, что только послаще; чуть заблажит и не хочет он сласти – тотчас готовы игрушки, карты, картинки, красная шапочка, сафьянные сапожки, а не то, так и отец с прутом, и мать с угрозами: «Съест бирюк, унесет солдат, идет поп!» Захочет ли Вася поплакать – и тятя, и мама утешат его, приласкают и в пух расцелуют; захочет ли он посмеяться – ему улыбаются оба; захочет ли он и баиньки – сама родная убаюкает его на груди своей, припевая родимую песенку; даже когда заснет он – благословение ее и божие веет благодатным сном над его колыбелью. А боже сохрани, если Вася делался болен! – отец со слезами нес свечу за престол Божией Матери, а мать тотчас давала обеты идти в Калухановку к чудотворной иконе.

---

<sup>2</sup> Бякнуться – неожиданно упасть с размаху.

<sup>3</sup> Гайтан – шнурок для ношения религиозных атрибутов – крестика, иконок, образков.

<sup>4</sup> Ярь – зеленая краска, получаемая из уксуснокислой окиси меди.

Хорошо было жить прошеному и молевому дитятке Васеньке в первые годы его младенческой жизни; посмотрим, каково-то будет ему дальше.

Так прошло три года. Вася перестал ездить по избе на четверне; старухи выучили его сперва стоять дыбки, а потом от них же он выучился ходить на задних лапках и даже бегать, по бабьи переваливаясь, да по-старушечьи спотыкаясь. От них же Вася выучился и говорить, да так речисто, что вся дворня прозвала его – «говорок». Мало того, он даже выучился разбирать хорошее и скверное: он, например, перестал без разбору глотать и уголь и мел, он очень хорошо раскусил, что сальные огарки, которые он прежде едал запросто, как колбасу, не так вкусны, как соус и пирожное, которые живут там на кухне, у Анхимыча. Вася повадился ходить за ними через сени на кухню к Анхимычу.

Анхимыч был повар крайне добродетельный; он готов был весь барский обед употчевать в Васю и все-таки ему казалось, что он еще не угостил; а Ионовна, жена его, бездетная старушонка, до того была чадолюбивая баловница, что себя отдала бы на съедение Васе, и все-таки ей казалось, что она его не употчевала. Часто вдвоем старики сходились над Васей, хватили его под руки, усаживали, как старосту на свадьбе, для угощения, и в это трудное для них время, сокрушаясь сердцем, решительно недоумевали, чем бы его наконец еще напичкать. Там-то Вася и распознал окончательно, что такое эти соблазнительные миндальные закорюки и крючья, на которые с такою любовью посматривает в окошко к булочнику бедный петербургский чиновник; там-то Вася и пробовал все, что ему подставляли; ел, конечно, только то, что больше было ему по вкусу, и наконец, когда уже слишком приступали к нему с гостеприимством и угощением, он упорно начинал проситься к маме домой, и даже часто хныкал от французского обеда. А Ионовна уже понимала, что «домой» значит – в общую людскую избу, в особый чулан, отгороженный там для помещения дворецкого Павла Кузьмича и жены его, ключницы Марфы Семеновны, и тотчас отводила туда его, нежно приговаривая ему сверху в голову: «Ну, ну, золотой мой, пойдем, пойдем, что ли, уж к маме, – нечего с тобой уж больше делать!»

Именно нечего было делать. Вася и сам знал хорошо, что стальные крючья, закорюки и загогулины канальски подманивают к себе человека; ну, а все-таки огурец с медом, толокно с молоком, орехи в патоке и маковники медовые гораздо слаще, – это потому, конечно, что они мамыны.

Так прошло еще с полгода, и круг Васиных познаний еще более расширился. Кроме сеней и кухни, Вася узнал наконец, что на божьем свете есть еще и двор, а на дворе этом – амбар и погреб, куда часто побегивают и тятя с мамой; он даже зорко высмотрел, что в тятинном амбаре стоит на полочке образ Николая-чудотворца, да тут же лежат: долото, подкова, факел, бирка, да два ржавые гвоздя, а у мамы, в темной яме – в погребе – растут и морковка, и репка и все этакое, что можно и в рот запустить. Мало того, он даже скоро смекнул, что в тятинькином амбаре не так-то сладко, как в мамынькином погребе: из мамина погреба часто прилетали в Васино брюхо и яблочко с вареньицем, а из тятинькина амбара тащили все только мешками овес. Но и этого всего мало; сам тятя еще далее развил познания Васи. Он, например, однажды сказал: «Экой ты, братец, дурачок еще у меня! не все же ведь на свете вольном только погреба да амбары: это вон конюшни называются, в них лошадки живут, а это вон барский дом называется, в нем живут сами господа». О господах Вася имел уже понятие; он видал часто, как тятя с мамой бросали ложки за столом, давились недожеванным кусочком и бежали куда-то, испуганные, спрашивая один другого: «Никак барин кричит?» И признаться, сначала Вася думал, что барин – это тот самый бука-то и есть, которым страдала его бабушка по дяде Чудиха, да уж после как-то дело-то разъяснилось. Раз отвели Васю в барские хоромы – поздравить господ с праздником и поцеловать ручку у барина и барыни; Вася внял наставлениям родительским, пошел собственными глазами посмотреть, что за птицы эти господа; и хотя тупо и глупо, но все-таки понял, что на свете в самом деле есть господа, и что им даже понравилось, как он ловко и громко чмокнул их в ручку. Кроме того, он увидал там, что господа его и не так живут,

как тятя с мамой и Ионовна с Анхимычем, и что у них гораздо светлее и наряднее, нежели у него в избе, даже и пахнет-то там как будто не жареным, а Вася решил наконец, что ему не мешало бы туда и почаще похаживать.

И вот сперва изредка да робко, а потом посмелее и каждодневно, Вася начал пешествовать мелким шагом через барское парадное крыльцо, через зал, через гостиную наконец, отыскивал там маму, и нисколько не стесняясь присутствием барина с барыней, ходил за мамой и, прицепляя себя карманом к родительскому подолу, пищал ей вслед: «И мне кафенку дай!»

Добродушные, старосветские помещики Василий Иванович и Марья Александровна, любя свою экономку и ключницу Марфушу, почти всегда ласкали маленького Васю, гладили его иногда по головке и даже часто говорили: «А, Василий Павлыч пришел! Здравствуй, Василий Павлыч, здравствуй!» И Василий Павлыч, иногда дико, а иногда и важно раскланивался, мазал носом и губами барские ручки и даже выучился шаркать ножкой, что господам очень нравилось и они часто смеялись.

Нередко Марья Александровна спрашивала Марфушу: «Чего просит твой Василий Павлыч?»

И Марфуша с улыбкой должна была сознаться в глупости своего любимца Василия Павлыча: «Да что, сударыня, кофею просит, – туда же как люди».

На что Марья Александровна почти всегда отвечала одинаково: «Ну что же, Марфуша? А ты налей ему».

«Да погодит, сударыня, не больно, чай, барин какой», – отнекивалась довольная мама.

«Ну вот еще новости – погодит? – когда погодит: он маленький, ему ждать нельзя долго, – подай-ка сюда чашку-то с водой, я сама ему налью».

И действительно, добрая Марья Александровна часто и сама наливала в воду сливок или молока, или, отдавая матери кофейные остатки, с достоверностью уверяла, что гущу можно и подварнуть – она для Васи еще очень годится. При чем Васе в подачку жаловалось кусочек сахарцу. Таким-то манером Вася каждодневно, как в кондитерской, выпивал порцию гущи и, свободно прохаживаясь по всем комнатам, посматривал да попевал, а иногда, как модный гость, валялся даже и по дивану, задирая кверху ноги. В эту свободную пору жизни маленький Вася был еще такого мнения, что общественные приличия – это такие пустяки, на которые решительно не стоит обращать внимание. А потому, когда ему все надоедало, он, не церемонясь много, начинал просто хныкать и проситься с мамой домой. Тогда уж Марфуша непременно должна была его проводить. Если же, боже сохрани, Марфуше не было времени заняться своим Васильем Павлычем, то он так начинал рявкать, что мама должна была непременно наскоро зажимать ему рот горстью или затыкать салфеткой, вытаскивая его иногда в сени и обыкновенно всегда заканчивая таким нравоучением: «Ты дурак, Васька, у меня: кто же плачет при господах, глупый ты этакой? Да еще ревешь ты этак! я тебя высеку за это в другой раз! пошел в избу, не смей у меня и проситься сюда больше никогда, – слышишь!»

Но это были только мамины остратки. Завтра обыкновенно все забывалось; утром чесали Васе голову; скоблили и вычищали под носом и снова посылали к господам с наказом: «Смотри же, голубчик сынок, не забудь, поцелуй ручку-то у барина с барыней». И Вася опять шел, и опять выпивал порцию гущи, или милостиво был отжалован костяной карамелькой.

Скоро Вася выучился ходить и за ворота: ему, видите, весьма было нужно встречать тятю, который, возвращаясь с базару, обыкновенно приносил гостинец. Для этого Вася всегда уткой выступал на встречу и, любопытно заглядывая ему в глаза, допрашивал: «Остинцев-то принес?»

«Принес, мой друг, принес; пойдем-ка домой, задавят тебя еще тут, господа поедут», – говорил обыкновенно тятя с улыбкой и при этом вручал ему ковригу, широкую и толстую, исписанную как скрижаль, которую Вася торжественно и высоко нес к маме на показ. Скоро,

очень скоро узнал Вася все великое достоинство тяткиных коврижек, и прилачился ходить за ними еще и через дорогу, к соседу-барину – прокурору.

Почему это было так – я вам сейчас расскажу. Отец Васи был, что называется, проныра и как-то особенно умел всегда обратить на себя внимание. Он, например, куме всегда кстати шил ботиночки на крепость, да такие, которые и по имени называл трехгодовалыми; зато всегда был уверен в том, что кума не откажется крестить у него хоть в двадцатый раз; куму, например, он подносил когда в подарочек живенького подлещика своего собственного лову – за то был уверен в том, что и подлещик его сыграет ему какую-нибудь штуку; барину часто, утром, подставлял к постели раков в решете, да таких молодцев, что Василий Иваныч, отдергивая босые ноги господские, с изумлением проговаривал: «Откуда ты, брат, Павел, откапываешь таких чертей, прости Господи?» А Павел только кричал, да подумывал про себя, что и раки ведь вывезут ему со временем. Положим, сосед раков не любил; ну за то любил он дичь, а жена его, прокурорша, так без дичи и жить не могла; а это Павлу Кузьмичу было тоже на руку. Павел Кузьмич сам был стрелок и как-то уж повадился лучшую дичь свою относить в подарок к прокурору. Между нами будь сказано, эти подарки обходились соседу подороже покупки, – ну да это все ничего. Это все потому, что губернаторы, председатели и прокуроры вообще любят честь, поэтому им все равно, хоть дичь неси, но лишь бы это было с почтением; они и дичь вашу примут за уважение, они и за нее отблагодарят вас при случае по-министерски. Павел Кузьмич и это также смекнул, а потому не только сам таскал свои подарки к прокурору, даже часто для своей собственной потехи и Васю обвешивал бекасами да чирками, да посылал его вперед, в виде разносчика с сапогами; а сам, с отеческой улыбкой следуя за ним и растопырочкой забегая вперед, отворял ему дверь и одобрительно вводил сынка за шею в прокурорскую прихожую. Было же это всегда или под праздник царский, когда у прокурора обедали чиновники, или под именины прокурора, или еще важнее – под именины самой прокурорши. Всякий, конечно, догадывается, что прокурор любил за это дворецкого Павла и даже вскрикивал: «А! Павел Кузьмич, здравствуй! что, братец, с дичью пришел? спасибо тебе, спасибо, родной мой!» При этом, конечно, прокурор не забывал гладнуть по головке и Васю, если тот попадал ему под руку, и всегда при такой оказии дарил ему двугривенный с ковригой, или полтину серебром да почтенный вяземский пряник, величиною с вывеску над лестницей, на которой написано: «Фхот».

По поводу этих заманчивых соседских пряников часто случались с Васей анекдоты и приключения, почерпнутые из ручейка житейского, конечно такие же маленькие, как и он сам, но все-таки необходимые здесь для полной связи моего рассказа.

Раз, например, прокурорский казачок, Прошка, попросил у Васи пряничка попробовать и одним хватком так его отпробовал, такую, бестия, выхватил зубами круговину, что Вася не вытерпел, заплакал даже от досады, – так это было больно! Казалось, легче, если бы он тяпнул самого Васю, нежели такой прекрасный прокурорский подарок. А в другой раз так и еще было хуже. Вместо Прошки вдруг откуда-то появилась большая дворная собака: сперва было так вежливо подошла к Васе, даже вильнула хвостом в знак знакомства и истинной к нему дружбы, а потом невежливо, по-собачьи, выхватила из рук прокурорский подарок и, даже не благодаря, утащила его тотчас куда-то под амбар – полакомиться. Вася ужасно испугался такого разбойничьего нападения, и закричал: «Со-ба-ка!» – маминька с тятинькой тотчас прибежали на звонкий его крик, бросились освидетельствовать и руки, и ноги, и прочие части тела: не откусила ли проклятая собака, не испортила ли – дьявол – ребенка? Когда же в наличности оказалось, что Вася был совершенно цел, то страх прошел у тяти с мамой, и они, узнавши истинную беду, скоро успокоили Васю родительскими ласками и другой запасной ковригой. Во всех таких случаях обыкновенно являлась Ионовна, и она была для Васи как само утешение. Ионовна тотчас рассказывала ему сказки: «Скрипи-скрипи нога, скрипи липовая» и «Детушки-козлятушки»... И если не плясала перед Васей в утешение, так только собственно потому, что

в ее лета плясать уж было как-то грех, – а то и пела и говорила, и, несмотря на старость свою и дребезжащий разбитый голос, даже бляела сама, как настоящая коза! – Чудо, как было весело Васеньке в эту минуту; чудо, как весело слушать Ионовнины сказки. Так бы и жил все этак, да слушал, да вечно смеялся!

Не все однако же в жизни Васиной были только сладости, пришло наконец в свою очередь и горе. Черт знает откуда, летучка какая-то вроде наполеоновской<sup>5</sup> козлиной бороды прилетела и села к Васе на подбородок; летучку вздумали, по совету Сампсонихи, пресекать огнем, и из этого выходило что-то забавное до слез. При каждом ударе в кремь, брызги огня так летели и в нос, и в рот, и в глаза, что Вася отдергивал назад голову, наподобие лошади с норовом, или морщился на манер того, как будто он нюхнул тертого хрену. Вслед за летучкою – не знаю, откуда и зачем – вроде бобов надели на руки бородавки. О бородавках Ионовна отозвалась так, что на руки насадили их лягушки, в то время как ее милый Вася купался в овраге в Сибирке, и что она теперь припомнила, что бородавки эти следует лечить выжиганием зажженного березового прута. Эта дьявольская операция была гораздо позабористее первой. Лечение Ионовны здесь заключалось вот в чем: березовый прут, взятый непременно из голика, обжигали до красного угля; уголь этот, как мехами, раздували в два рта сама мама и Ионовна, и потом уже всовывали его в бородавку так, чтобы она зашипела. Сами можете представить, как отдергивал Вася руку, когда его ужаливала такая штука. Я слышал только одно, что при каждом втыкании угля в бородавку маленький мальчуган визжал, как поросенок в мешке.

После таких операций Вася уже, конечно, долго плакал, а по поводу новых огорчений начинались опять новые утешения. Ионовна окончательно заманивала Васю в свои поместья, на кухню, и так его бессовестно по-купечески окармливала, что бедный ребенок хлопал только глазенками, и уж ничего не мог выговорить, как только одно, что у него болит брюхо и голова. О болезнях брюха и головы Ионовна рассуждала так, что это все от черного глаза глазуна – лихого человека, и что милого Васю непременно следует спрыснуть. А за этим начиналось тотчас шептание у дверной скобы, да прысканье, да фырканье холодной водой прямо в рожицу Васи, так что испуганный мальчуган, моргая глазенками, подумывал только: «Что за чертовщину они со мной делают?» Часто, как мученика, водили Васю даже под куриный насест, по вечерним и утренним зорям, и там мама с Ионовной такие над ним строили штуки, которые никак не могут прийти в голову даже и самоновейшему и самомоднейшему французскому врачу. Но и этого всего наконец мало: злодеи-господа уговорили еще маму привить Васе оспу, и мама, как ни отнекивалась, однако вынуждена была согласиться. И вот еще новое горе.

Пришел старик в очках, нечесаный и небритый; наточил ножичек об стеклышко; сердито посмотрел Васе в глаза и еще сердитее вскрикнул: «Пораньше бы надо!» Потом засучил рукав и давай у Васи резать руку. Вася испугался, закричал, задрягал даже ногами, бросился головой в брюхо к маме, к Ионовне наконец; а мама с Ионовной точно с ума сошли – сцепили его обе за руки и так под ножик-то и подталкивают. Еще, к счастью Васи, старик-то попался верно добрый: поколол немножко руку-то, да как плюнет на ножик, обтер его об полу, крикнул и захрипел опять: «Ну, ничего, молодец, небось, – теперь уж все...» И в самом деле завернул он лениво в бумажку свое нападательное оружие; засунул в боковой карман жилета; почесал той же рукой за галстуком щетинный подбородок; протянул к тятю руку за белянским грошиком; сказал спасибо, мотнул головой и ушел домой.

Вася с удовольствием посмотрел за ним в окошко и даже подумал: «А верно добрый был; попадись-ка я этак другому – ух! напрочь бы отрезал руку-то!»

Долго следил еще Вася глазами за стариком, задавая себе вопрос: «А что, если воротится? – ведь убегу в подпечек, право, так!» Но видя, что тот и не думает возвращаться, Вася

---

<sup>5</sup> Наполеоновская борода – комбинация аккуратной бороды под нижней губой и усов. Считается, что такой стиль был популяризирован Наполеоном III и стал модным во второй половине XIX века.

перестал высматривать темные закоулки чулана и, как ребенок, скоро успокоился и забыл свое горе.

Между тем оспа созрела, руки разболелись, маленький баловень плакал и бередил их, и еще больше блажил оттого, что его не пускали даже и кувыркатся. Но как в мире все имеет свой конец, то и это также окончилось. Васю наконец выпустили на свободу, и он тотчас отправился к своим господам засвидетельствовать им свое нижайшее почтение и даже шаркнуть перед ними ножкой.

Барыня, Марья Александровна, верно обрадовалась приходу Васи, потому что пригласила его к себе в будуар, подвела к красивому резному столику, выдвинула ящик и предложила Васе взять из него на выбор, что он захочет. В ящике лежали конфеты, золотые монеты и ее дорогие брильянты. Вася на все посмотрел; казалось, обо всем подумал; даже что-то пофилософствовал и вытащил наконец за вихор самую красную и самую дрянную конфетку. Барыня расхохоталась; позвала ключницу Марфушу и с ней вместе еще простодушно посмеялись над бестолковостью Васи, – а Вася простодушно хотел конфетку. И стал Вася по-прежнему похаживать к господам своим, да утешать их своими бестолковыми песнями, вроде такой: «Свят Данило – посконное рыло», да беспорядочными ребячьими рассказами вроде того, как «генерал Лобков летал до облаков, да просил богов о заплате долгов, а боги отказали – ни слова ему не сказали».

Часто случалось Василий Иваныч пальцем подзовет Васю к себе, заставит его повторять скоро вывороченное на изнанку слово: «рак-я-ду», а потом, вслушавшись в речь его, внезапно захохочет во все басистое горло. Часто случалось, Марья Александровна пальчиком подзовет Васю к себе и заставит выговорам трудные для него три слова: «шит колпак не по-колпаковски», и когда Вася, переконфуженный, замешавшись, понукает свой непослушный язычишко выговорить: «непокал-кал-покаковски», – Марья Александровна засмеется над ним и даже заставит его это забавное слово повторить. А за все такие забавы Василий Иваныч и Марья Александровна, в знак ласки и привета своего, жаловали Васе к великому празднику ситцу на рубашонку, а к именинам, когда он приходил с поклонным кренделем, так и коленкорцу на штанишки.

Иногда случалось также, что Марья Александровна зазовет Васю к себе в спальню для забавы. Тут она велит, например, поймать ему за хвост муху. Вася подкрадется, хватит и окажется, что муха улетела; он следит за мухой глазами, а Марья Александровна следит за его глазами. В другой раз, она укажет на пустой потолок розовым своим пальчиком и скажет Васе ласково: «Вася, посмотри, какая там летает милая пестрая бабочка». И Вася, как любитель пестрых бабочек, смотрит вверх, ищет глазами на пустом потолке бабочку и дивится, что ее там нет. А это было вовсе неудивительно, потому что Марью Александровну занимали в это время не бабочки, а что-то другое: Марья Александровна всегда почти при этом обращалась к сестре своей, Софье, с вопросом такого рода: «Не правда ли, Софи, какие у него хорошенькие глазенки? – Смотри еще туда, Вася». И Вася еще смотрит. А старая дева Софи всегда отделялась от сестры своей длинным университетским рассуждением о глазах с поволокой и о их привлекательном выражении, а иногда даже заканчивала и тем, что на свете, во всю свою жизнь, она видела одни только глаза – это глаза уланского корнета Шипстикова.

Часто также случалось, что Марья Александровна трепала Васю по щеке, гладила ему шею, поднимала пальчиком голову за подбородок и даже гладила его по голове, если голова не была намазана маслом. Она даже рекомендовала Васю с отличной стороны гостям своим. Но при гостях всегда случались такие обстоятельства: или Вася не может выговорить, как его зовут, и сколько ни допытываются, все как будто стыдно выговорить ему слово: «Вася», или, заупрямившись, на все вопросы гостей не ответит ни полслова, – как обыкновенно это всегда бывает со всеми дикими детьми простолюдинов, которые конфузятся, – или наконец гости были так важны, что решительно не хотели знакомиться с Васей и даже не обращали на него

никакого внимания. Во всех таких случаях Марья Александровна слегка брала Васю за рукав, отводила к двери и, по своему всегдашнему мягкому обращению спальни, говорила ему ласково: «Э, какой ты стал вдруг глупый – ничего не говоришь, ступай туда...» Не знаю, из любви, или страха, но только Вася всегда соглашался с мнением Марьи Александровны, никогда не упрямялся, никогда не навязывался с своим знакомством к гостям важным и тотчас же уходил «туда». А куда – он уж знал, и немедля же отправлялся к маме в девичью. За что даже вдогонку часто слышал, как Марья Александровна говорила об нем гостям своим важным: «А прекрасный будет мальчик».

Если же в девичьей мамы в наличии не оказывалось, то Вася задними проходами перебирался за ней в избу и тотчас же рассказывал ей или Ионовне, что у него прекрасные глаза, и что он прекрасный будет мальчик, – так говорила об нем там барыня.

– А мне там вон что дали... – говорил он иногда, показывая маме, из маленького кулачишка, хвостик красненькой карамели.

– Ну-ка что-о? – допрашивала его мама, как будто не догадываясь, в чем весь секрет.

– А я не покажу тебе... – И Вася закладывал кулачок за спину, или секретно выкусывал из горсти голову леденцовому петуху, с божбой уверяя маму, что он не покажет ей того, что у него есть. Мать, конечно, очень-то и не допытывалась узнать, чтоб уж не огорчить еще любимца.

А Вася, после подобных интересов жизни, где-нибудь в углу за печкой, сладко засыпал со своей конфетной сигарой, задумывая, как бы завтра отправиться в гости еще и к постояльцу.

Постоялец, к которому собирался Вася завтра, жил во флигеле на заднем дворе. Первое знакомство Васи с постояльцем было очень чужаковато. Как-то любопытный ребенок заполз на задний двор, чтобы поближе рассмотреть, из-за чего там так дерутся лошади, да зачем они обнюхивают одна другую, да громко кричат. В это время Вася заметил в окне торчащую рыжую голову да белую руку, которая кидала хлеб индейским петухам. Это бы, конечно, неважно, – и мама также кидает, – да важно то, что красноголовые индейские петухи понимали красноголового барина, как люди. И как только рыжий барин закричал им в окошко: «Здорово ребята!» – петухи тотчас подняли носы, вытянули шеи и все в раз заболтали так, как будто они силились выговорить: «Здравия желаем, ваше благородие!» – Такой военный разговор заинтересовал Васю так, что он не утерпел, подвинулся еще поближе. В это время Артамон Артамоныч Пентюх всем своим тучным туловищем выдвинулся в окно, подманил к себе Васю толстым пальцем с перстнем и еще громче закричал: «Здорово, ребята!» Ободренный зовом, Вася просмеялся, когда заболтали индюки, а капитан Пентюх, подергивая ежовый ус свой, еще и спросил Васю: «А что, брат, каково?» – на что бестолковый Вася ответил только улыбкой, как будто обдумывая: «А что, в самом деле, каково это? действительно ли это прелесть военная, или это только так кажется?»

Капитан после того пригласил Васю в комнату и на первый же раз, как паролем, опросил его: как его зовут, да который ему год, да что он больше любит – тараканов или лягушек; да гладил ли он ежей с поросятами? На что Вася отвечал удовлетворительно, и для поддержания беседы спросил в свою очередь капитана: зачем у него такой большущий, с брюхо величиной, кисет табачный; да отчего у него гнется так чубук его волосяной; да зачем на фарфоровой трубке, изображающей турку, смеется так рожа?.. А на ответ капитана, что любимая его трубка пенковая, сомневающийся Вася ответил так: «Вы все меня надуваете, это совсем не пенка; я, чай, пенки-то знаю, Ионовна мне давала, я их уж ел».

После чего Вася, конечно, еще больше понравился капитану, до того понравился, что капитан спросил его: пьет ли он водку? – и тотчас пригласил его выпить с собою рюмочку, даже дал закусить кусочек балычка и довольно-таки потешился над его сморщенным носом. В заключение пригласил он Васю приходить к нему почаще.

Артамон Артамоныч, по роду жизни, был ленивый, вечно-халатный барин, по образу жизни когда-то военный, теперь отставной капитан, средних лет холостяга. Занятия его почти

всегда были вроде тех же, какие я сейчас представил. То Вася находил его сидящим над дырочкой, и капитан таинственно шептал: «Тише, брат, не испугай!..» – и за этим вдруг пред удивленным Васей выволакивал из дыры крысу, которая по глупости, вместо леща, попала на капитанскую удочку; то приходящий Вася с любопытством рассматривал, с каким неподражаемым искусством капитан выстригает на хвосте своего пуделя пушистую кисточку и какие хорошие шарики отделяет ему на задних ногах; то вдруг капитан окончательно поражает Васю удивлением, потому что сам обмазывает своего Юпитера мылом, сам усердно выбривает его сзади и, даже еще поглаживая по голому пуделю, допрашивает краснеющего Васю: «Ну, что, братец, каково выбрито? Что, ведь голенький стал Юпитер-то?»

Капитан скоро полюбил Васю, как забавного ребенка; стал почаще подманивать его к себе от скуки и даже позволял ему обходиться с собой запросто, на короткую ногу, по-ребячьи, или по-стариковски тожь. Вася, например, имел полное право приходить к Артамону Артамонычу когда угодно и говорить ребячий вздор, какой угодно. Часто даже доходило до того, что и на самопустейшие ребяческие вопросы, как например: «А что, Артамон Артамоныч, будем мы сегодня мух-то бить?» – отставной капитан отвечал благосклонно: «Будем, братец, будем, – отчего же и не поколотить их бестий? пойдём-ка, брат, Василии Павлыч, попробуем; ты хорошо сделал, что пришел – я-то вишь не умею; да они, каналы, и не трусят меня, верно привыкли; ну а ты человек новый».

После чего Артамон Артамоныч действительно поднимался с кожаного своего волтера и, как на салазках, перекачивался на туфлях в ту комнату, где больше было мух. Причем Вася вооружался хлопущей, а отставной капитан садился, как главнокомандующий, и указывал именно на те места, где сильнее нужно было сделать нападение. После чего разъяренный Вася, с кожаной лепешкой, прикрепленной гвоздиком к палочке, так носился из угла в угол, как угорелая кошка, и так прилепывал к стене несчастных шестиножек и осенних жигалок, что от них оставались только одни красно-желтые рисуночки. В одном углу отдавалось хлопанье, а из другого слышалось простодушное восклицание капитана Пентюха: «Ай да молодец, как он эту стегнул!» Даже в голосе слышно было, что вечно ленивый, неслужащий дворянин находил, что от скуки и это смешно и забавно. Когда же хлопанье и храбрость домашней армии до крайности надоедали, Артамон Артамоныч тотчас находил и другую забаву. Он, например, начинал угощать Васю чаем со сливками или кофеем с сухарями, до чего Вася был такой же лакомка, как и до мух. Но когда тот доканчивал свою порцию – вторую сладкую, с сухарем, Артамон Артамоныч с удивлением и аханьями начинал над ним говорить: «Что ты это наделал? а?.. Ведь ты оскоромился? а?.. ведь день-то сегодня постный – среда! Ах, беда, ах беда!» А Вася как на беду боялся отца, не хотел огорчить матери и вперед предвидел, как ужасно будет ахать Ионовна над тем, что он совершил такое прегрешение – оскоромился в среду. Оторопевший Вася вскакивал после того со стула и с ревом отправлялся к маме покаяться в прегрешении. А отставной капитан, поддразнивая его еще из окошка, приговаривал: «Надул реву, надул; что, брат, реवेशь? Васька-козел, полно бляеть-то!» На что осерчавший Вася плевался, или сквозь слезы сердито отвечал: «Сам ты козел Васька, псиная борода, оскоромил меня, собака, не пойду больше к тебе!» На что Артамон Артамоныч изволили хохотать во все горло.

Время между тем летело стрелой; Васе исполнилось четыре года. Смысленный ребенок стал отчасти понимать, что так докучливо и часто толковала ему мама: будто он не барин у нее и будто ему не след часто тискаться и торчать в гостиной, потому что он стал побольше. «Пожалуй, еще, говорит, господа на тебя осерчают». Вася даже и сам стал замечать, что Марья Александровна как будто не так уже ласкова, как прежде: в пустой потолок заставляет смотреть не часто, конфеты стала давать редко, только по праздникам большим, а в последний раз так и ничего – на именины. Он даже подметил, что к Марье Александровне из детской стали часто приносить маленькую беленькую девочку – всю в белом, а Марья Александровна вместо его,

Васи, потрагивает ее по щечке розовым своим пальчиком да нежно выговаривает ей: «Лили, милек!»

Но это еще все бы ничего, если б Марья Александровна не разобидела Васю однажды окончательно.

Раз Вася отличнейшим манером возился на ковре с косматой Жужуткой, любимицей Марьи Александровны. Жужутка отлично кидалась на Васю, и для потехи рвала ему рубашонку. Вася тыкал Жужутку пальцем в шею, зацеплялся за гарусный ошейник, находил, что это чрезвычайно весело и даже обнявшись с нею начал ее примерно грызть.

И что же бы вы думали из этого вышло? Та самая Марья Александровна, которая так много любила смеяться над Васей, в то время, как он играл на ковре с ее Жужуткой, – та самая Марья Александровна теперь ни с того, ни с другого как закричит вдруг на Васю: «Ты шалишь, говорит, Василий Павлыч, – пошел вон!» – Каково это вам покажется? – Васе до такой степени стало стыдно, что у него покраснели даже уши, тем больше, что Вася терпеть не мог этого обидного слова – «вон», да и слышал-то его в первый раз своей коротенькой жизни. А потому и вышло, что он сразу свернулся в комочек, вскочил сперва на ноги, сначала как будто оторопел, но потом тотчас напыжился, надулся и выходя чрез прихожую на двор, хлопнул дверью и проворчал: «Да больно мне нужна твоя Жужутка-то, как же! Я захочу, так и с Азоркой пойду поиграю, еще получше Жужутки – он бегают со мной по всему двору».

И вот Вася познакомился с Азором, и познакомился на короткую ногу, до того коротко, что стал на нем ездить по двору верхом. Познакомился он даже и с Шариком, который был еще смиреннее и еще уважительнее к Васе: тот даже позволял совать себе в нос щетину, а в уши целые пучки соломы и перьев; кроме того, прямой свой хвост держал, как дышло, и Вася имел полное право прицепляться к этому дышлу, как коляска, и, сидя на земле, ехал до тех пор, пока под эту коляску не подвертывался камень, или не ужаливала заноза. Мало того, Вася познакомился еще и с кроткой Шеверюшкой, у которой репы<sup>6</sup> были натканы в морду и в хвост, и с сердитым Цепляем, у которого репы сидели только в ляжке, а из хвоста он выкусывал их с шерстью; он даже запускал руку в длинную косматую шерсть обеих своих собственных собачонок и, как настоящий учитель собачий, такую задавал им таску, какую задает только нравоучительный сапожник Лапин, запуская лапу в нечесаных учеников своих, живущих у него в мальчиках. И этого мало; Вася познакомился даже с самым грозным Соколкой, который вечно сидел на цепи, и не только познакомился, даже – по доброте своего ребяческого сердца – сострадал о горькой его участи, и когда несчастный Соколка, смотря на свою свободную братию, побрякивая цепью, выл у амбара, Вася подходил к нему с сожалением, Вася обнимал его косматую шею и узкий ошейник, Вася ложился щекой на голову Соколки, Вася заунывно спрашивал Соколку: «Что, бедный Соколушка? что-о? скучно тебе? Ох, ты bestия!»

Вася познакомился даже и с Пальмерстоном-рыжим, который был серьезнее всех дворовых псов, и на первый же раз из дружбы, чуть было не прохватил насквозь Васе руку. Пес этот назывался кабинетною собакою самой барыни, и в самом деле имел такую серьезную морду, которая походила на что-то очень замысловатое. Но и этого знакомства было мало. Вася познакомился даже с серым волчком, которого хотя и называли ручным, однако держали в клетке, прикованного к стене, и не выпускали никогда, будто за то, что он был слишком строг к курам и взыскателен к пороссятам. Несмотря на то, что сама мамынька толковала Васе, будто волчок не собачий сын, а самого того волка, которым его пугали; несмотря наконец на то, что мамынька запрещала Васе ходить в хлев и грозила, что его съест там волк, Вася все-таки делал по-своему, он носил туда кусочек хлебца и говядинки, гладил волчка по спинке и продолжал его гладить до тех пор, пока наконец с этой спинки люди не содрали шкуры, о чем Вася очень сожалел.

---

<sup>6</sup> Репьи – репей, репейник.

И утешился только тем, что завел себе жирного кота Ваську, которого сам обучал прыгать в обруч, да завел себе еще двух отличных котят с великолепными усищами, да еще толстого мопса, очень похожего на петербургского швейцара, которого сам тятя учил стоять на задних лапах, как лакея перед барином. Завел было Вася также и Жужуточку тоненькую, да жаль, скоро перекусил ее пополам Соколка разбойник. В утешение от горя последнего Вася узнал от мамы историю о знаменитом происхождении Азора, сестры его, Шеверюшки и сына их Цепляя, что мама и сама любила рассказывать ему от скуки и о чем даже сам Вася иногда канючил на распев:

– Мама, а, мама! Расскажи-ка о Шеверюшке-то?

– Ну да ведь ты уж знаешь о Шеверюшке-то? – возражала мама ласково: – Сто раз ведь уж слышал об этом, надоедало ты этакой!..

– Ну да еще расскаж-жи? а? Расскажи-и...

– Ну вот: Емельянушка-то Пырочкин взял слепых кутят-то в полу, да и идет по улице да плачет над ними; и Марья-то Александровна смотрит этак в окошко-то да и спрашивает: «Что это ты, – говорит, Емельянушко, плачешь то об чем?» – «Да чего, – говорит, – сударыня, кутяток моих приказала барыня закинуть в овраг, а мне вот жалко-с их оченно-с больно, маленькие, – говорит, – вон, как дети этакие, какие-нибудь». А та, знаешь, всякую животную оченно любит, ну и говорит ему: «ну полно, – говорит, – Емельянушко милый, не плачь, дайка их сюда». А тут отца-то нашего и вскрикнули к себе: «Павел, – говорит, – поди-тка, – говорит, – возьми их от него, да воспитывай хорошенько; смотри-же, говорит, у меня, не бей их – слышишь!» Ну вот и вышло оно, что они этакие балабаны вздрочены отцом то твоим, – настоящие обреутки. А тому гривну дала за них, аль, кажись, и две за пару-то; ну, а Емельянушке это и на-руку, ему ведь только это и нужно было, он уж человек от известно какой, только из-за выпивки и колотится; взял вон пошел в кабачок, да и дернул там за их здоровье. Ну вот и дело с концом, еще песенку попевает, назад-то идучи. Вот так они у вас и остались в ту пору, и теперича вон живут да поживают: Азорка-то вон, старик стал, а Цепляй-то еще молоденький.

Но как Азорка, Шарок, Соколка, волчок, кот Васька, мопсик, – словом, весь дворовый собачий и кошачий мир далеко не удовлетворял пытливости свежего детского взора, а для игры и забавы всего этого было недостаточно, то Вася и стал мало-помалу знакомиться и с прочим его окружающим. Любил он, например, встречать мамину Субботку, идущую важно из стада, как толстая купчиха; ту самую Субботку, о которой завистливая соседка говорила часто маме: «А твоя, брат, Субботка, настоящая король-корова изо всего стада». Любил Вася гладить и глупого теленка, Бунеюшку, привязанного в избе к шайке и до того глупого, что он даже и от молока-то топырился и его не умел порядочно выхлебать. Любил он и гусей-молодцов, и несмотря на то, что боялся грозного их шипенья, все-таки любопытно посматривал на них издали, и когда они, поднявши гордо голову, гоготали во все горло, он с замиранием сердца выговаривал: «Го-го-го! как славно!» За то не любил он кислых индеек, которые все как будто спали ходя, даже синие носы их называл не иначе как соплями, и даже, ходя за ними, передразнивал, говоря: «Тя-тя-тя: чего тебе не тя, – эх, вы кислятина!» Любопытно засматривал он на двух маминых уток, которые переваливались от жиру, как беременные женщины, и даже делал над ними своего рода заключения: «Что это, мама, они, как дураки, ходить-то совсем не умеют? не выучились, что ли? вон как! точно кувыркаются?» – Узнал Вася хорошо и оборванную, хитрую мамину курицу Анну Андревну, узнал ее немочи, бедность, хилость и, сокрушаясь об ней сердечно, всегда отдельно от прочих давал ей от себя крошечки хлебца и творогу, заботливо отгоняя от нее прочих бестий рябушек, которые – и в его то глазах – готовы были бессовестно выхватить у Анны Андревны творог и хлеб не только из-под носу, а прямо выключнуть из носу. Он знал также с хорошей стороны и всегда хвалил от себя, при случае, горластого маминного петуха Антошку-долговязого, который отличнейшим басом и так весело певал свое: «Кукареку» и так с соседними петухами расправлялся по-свойски, что от них летело

решительное ключье, – словом, отчаянный Антошка-долговязый был не только забияка, но и отличнейший дуэлист. За что сама мама наименовала его петухом голландским, а по отчеству величала чуть-по не королем дювгерландским. Он познакомился даже коротко с черным прокурорским козлом Васькой, которого прежде так боялся, как бабы боятся домового, и от которого в первый раз так прыснул с испугу, что спрятался головой маме в подол, между разведенными коленями. Впрочем, Ваську-козла он любил все-таки не так, как мамину козу Машу, которая еще однажды, забравшись за ним в сад к Оленьке Почечкину, так аккуратно обстригла там все верхушки цветов, что оставшиеся бустыли представлялись похожими на стриженные волосы школьника.

Но как и этого широкого знакомства пытливому Васе все-таки было недостаточно, – он еще дальше стал заглядывать на широкий божий мир. Со вниманием стал он рассматривать сизеньких голубчиков, парочкой сидящих на крыше и целомудренно целующихся в весеннее теплое время; в особенности любил он смотреть на них в то время, когда они таскали один другого за нос, за то недолюбливал он черных бестий-галок, которых мама с Ионовной – не знаю за что – называли пустой птицей, а тятя с Анхимычем – знаю почему – величали нахалками и сероглазыми канальями. На прыгунью сороку он смотрел с особенным любопытством, как на редкость, иногда даже покрикивал: «Эй, сорока-белобока!» – и почти всегда, складывая вместе ножонки, пробовал сам прыгнуть сорокой. Равнодушнее всего смотрел он на карканье глупой вороны, никогда не вытягивал шеи из подражания оной, никогда не глотал так воздух, как глотает та при своем карканье и даже никогда не пробовал по-вороньи почистить свой нос об мерзлую кочку, несмотря на то, что в это время нос и очень нужно было чистить. Впрочем, в последнем отношении не только советы, и даже самые приказания и угрозы мамы нисколько не действовали на Васю. Васе решительно некогда было заняться чисткою своего носа: его более занимали резвые прыгунчики-воробышки, особенно когда они, перед теплом прыгали на одной розовой маленькой ножке, а другую поджимали под себя от лютого морозу, все-таки весело выговаривая «чуть жив!» Вася даже неумоимо следовал за ними под сарай и там подробно рассматривал, как грели они розовые ножки свои, зарывая их в кучи теплого, парного навоза. Вися даже неустрашимо заглядывал за ними и в колодцы, и там зорко высматривал, как цепко сидели они на срубе, как заботливо спасали маленькую жизнь свою от жестокой русской зимы. С наслаждением следил Вася полет резвой ласточки-касаточки, скользящей, как молния, по земле пред грозой; он часто с растопыренными ручонками кидался перед ней, также, как перед летучею мышью вечером, чтоб обеих изловить. Жаль только, что изловить-то никак не удавалось: уж быстро очень летали. Конечно, в это время он чувствовал, что и сам он человек очень быстрый, ну да все нет – не ловится! Что же касается до появления первого скворчика, так это было такое щекотанье, которое веселило Васю всего. Вася готов был заплясать в то мгновение, когда отец начинал ставить первую – мастерски отделанную – скворечницу и еще пророчил Васе, что скоро прилетят скворцы. Вася решительно по сотне раз на день просился из избы во двор посмотреть: не прилетели ли в самом деле его милые скворушки. По правде сказать, он часто вылетал из сухой избы прямо в лужу, в ручей и в грязь – словом, в такие места, куда скворцы уж вовсе не летают, – ну, да это ему нипочем.

Вот тот маленький, чудный мирок, в котором по-своему по-младенчески безгрешно и свято витал мой пятилетний крошка Вася. Чистые его наслаждения природою подслащались еще то душистым желтым одуванчиком, то сочным и румяным яблочком, то багряною гладкою вишенкой, то наконец ласковым словом и сказочкой воркуны Ионовны, то поглаживанием да похваливанием самого тятеньки, то наконец уж тем, что всего слаще и милее на свете – ласковым поцелуем и приголубиванием самой родимой мамыньки. О, золотое времечко!

Конечно, иногда случалось оно и так: Ионовна уходила к своей чудотворной иконе в Калуханову или Богомилово – богу молиться; тятя говорил жестковато: «Отставь, братец, с пустяками, мне некогда теперь с тобою толковать». А мама так еще неприветливее и жестче

покрикивала на Васю: «Ну, что ты как за язык повешен, Васька! Мамкай еще! Видишь, некогда мне? пошел от меня прочь! опять вон черти – гости наехали, прости Господи! Не надоедай мне, как горькая редька, убирайся от меня к шуту!» Ну и ступай мой бедный Вася к шуту, а к какому шуту? где он живет? Этого он не знает, да и никто не знает, бог один знает. Поневолу после того взгрустнется так, что захочется всплакнуть.

Хорошо еще, что это было в такое время, когда плакать-то вовсе было некогда: то подвернется под руку такой милый цветок, который так сам и впрыгивает в очи резвушка Васи, то зеленый бархатный лужок сам нежно подманивает маленького Васю покататься, да повалиться по нем, то там из-за куста вспорхнет и заиграет перед Васей, как радуга – пестрая бабочка, то здесь вместо мамы улыбнется ему и приголубит его само ясное божье солнышко.

И вот Вася забыл уже, что его обидели тятя с мамой, и вот Вася не сердится уже на то, что его отогнали от себя мама с тятьей. И этим чудным забвением ребенок как будто хочет сказать нам: «Я чистый младенец; у меня есть другая нежная мама, она меня никогда не обидит и не отгонит, эта ласковая мама моя – мать природа». И этим ангельским незлобием ребенок как будто хочет сказать нам: «я святой младенец; у меня есть другой нежный тятя, он меня никогда не обидит и не отгонит, – этот ласковый мой новый тятя – отец мой небесный – бог!»

Да, да! мое дорогое дитя! отжившим сердцем моим чувствую, что ты говоришь мне вечную правду, и веруя в тебя, мой непорочный младенец, я утверждаю вечную истину слов твоих словом великой книги: «Не возбраняйте детям приходите ко Мне».

## Глава II

Вот как я представил тебе, читатель, моего пятилетнего младенца Васю. Но что такое пятилетний ребенок у таких родителей, как наши чем-то вечно занятые крепостные люди? Не есть ли это мешок, напичканный до сыта грубою пищей от черствого стола или мясотины, и разве еще изредка дополненный ворованными лакомствами от сытного господского стола? Безошибочно можно сказать, что вся его физическая жизнь заключается в пяти только словах: есть, пить, спать и играть, а пятого нельзя уже и сказать. А умственное развитие такого ребенка ограничивается любопытством его глаза и памятью; он знает название многих предметов и вовсе не знает их настоящего употребления или назначения; он знает несколько десятков счета и вовсе не знает его настоящего применения к делу; он с грехом пополам заучивает название дней недели, без порядка, и много-много разве при строгости родителей – узнает, что среда и пятница дни постные, а воскресенье – это праздник. Все нравственное его убеждение есть безусловное повиновение воле родительской и начинается и оканчивается оно только бранью матери, и угрозами отца и отцом, да иногда разве – при резвости и упрямстве ребенка – плесками, теребачками, подзатыльниками и прутом. Все его религиозное понимание заканчивается заучиванием той молитвы, которую нанесла над ним бабушка Сампсониха, при его появлении на свет божий, да много-много разве еще знанием наизусть: «богородицы диварадавайся». О боге ребенок знает только то, что он у мамы, в чулане, висит в переднем углу на веревочке, или стоит на божнице в медном облачении, за стеклышком, и что у него черное лицо; – разве еще ненароком узнает от кого-нибудь, что бог живет на небесах, там, дале-е-ко...

Что же из него должно выйти? Что? если ко всему этому присоедините еще целую дворню учителей, беспрестанно своими живыми примерами поучающих ребенка и тому, и сему, и одному, и десятому – и вовсе уж не тому, чему нужно бы учить маленького пятилетнего ребенка. А между тем в этом пятилетнем ребенке, при таком неудовлетворенном состоянии и при такой страшной суеде и деятельности, беспрестанно затрагивается не только любопытство, а даже и сердчишко его и маленький его ум. Вот настоящее положение моего пятилетнего Васи.

Рассмотрим же теперь, чем в особенности затронуто было, в настоящий период, его любопытство. Первая картина, которая в особенности затронула его любопытство и ярко сверкнула пред очами ребенка, как что-то целое и даже с ним нераздельное и неделимое – это рождение брата его Вани. Рождение Васина брата Вани было вот как. Раз как-то Вася, проснувшись утром, заметил, что у него пропала мама. Во всех таких пропажах Вася имел обыкновение реветь, ибо вперед уже был уверен в том, что ему стоит только покрепче рывкнуть, так непременно кто-нибудь из двух – тятя, или мама – а уж явятся на свидание и утешат сироту в уединении. Но на этот раз случилось как-то не так; и мама не приходила, и тятя не являлся, а просто какая-то голосистая бабенка закричала на него с печки: «Васька, шкура-сте долой, что ты глотку-то дерешь, жаба-те в горло! Наткось поди наладил: мама да яма! Мамка твоя в бане, ступай туда; она там тебе братишку родила. На-ка вот: штанишки-то надевай, что ли!»

Вася очнулся и как будто образумел. «Пожалуй, – подумал он, – и штанишки можно ведь надеть, когда мама братца родила – надобно его посмотреть». Вася после того живо напялил на себя амуницию и тотчас покатил в баню. Отец с удивлением спросил его в дверях: «ты, брат, зачем сюда появился? тебя кто звал?» Однако после того тотчас показал ему маленького нового брата, красного как говядина, а даже прибавил: «видишь, как он спит?»

Рождение Вани, читатель мой, для тебя не так уже интересно. Бабушка Сампсониха – дай ей бог царство небесное – отживши последний сотенный год своей славной тысяче-внучатной жизни, переселилась в вечность! Новая бабушка Сидориха не только не умела отхватывать этак что-нибудь замысловатое: – там дунуть, плюнуть или пошипеть на нечистого да отогнать нелегкого воскресной молитвой, не умела даже пупочка детского порядком перевязать, – допу-

стила-таки надуть грыжу. Сама мама, состарившаяся пятью годами, уже гораздо хилее перенесла этот обычный период, к которому верно и в восемнадцатый раз нельзя женщине легко привыкнуть. Она даже на самый сердечный вопрос: «Как для нее назвать нового ее сынка?» – махнула как-то отчаянно рукой и только вяло выговорила: «Ну, зовите, как хотите, Господь с ним!.. Всякие были у меня, матушка Сидоровна, и Сергей, и Андреи, да проку-то в них как-то все мало – непрочно больно, только и знай, что хорони да рожай. Не стоит и иметь – о их вовсе: только одно горе с ними...» На что, впрочем, Сидориха тихо ответила: «Ну, полно, Семеновна, грешить-то! когда не стоит ничего? что уж это, больно? кормилец, чай, будет тоже? – сын вишь». Но в самом голосе Сидорихи слышалось, что и сама она мало веровала в новорожденного – ибо новенький братик Васи ни крепостию мышц, ни упругостию тела нисколько не походил на Васю новорожденного, а был так какая-то неподвижная разваренная свекловица. Самый тятя как будто осовел, как будто он устал уже и крестить и хоронить детей своих: он не пошел даже искать и кума с кумой, махнул как-то горько рукой, и просто тут же из дворни отрядил, как на барщину, портного Аскалона да коровницу Лепестинью, и они в этот же день за обедню отнесли в церковь новорожденного Ваньку. Кума даже объявила Васе, что они идут в церковь за тем, чтобы нового братца его ввести в «крестьянскую веру». Вася любил всякие новости и потому тотчас с кумой же борзо отправился в церковь, чтоб высмотреть подробно, как это там будут еще водить нового его братца. Но напрасно и ходил; пошел-то он было и бодро да оселся: вовсе ничего для него не было веселого и в церкви. Просто сторож Романы с храпом натаскал холодной воды и вылил ее в какую-то большую медную рюмку с доньшком, которая стояла в углу на полу. Потапыч, дьячок, бегая взад и вперед суетливо по церкви, выронил уголек из кадила и наклонясь, чтоб поймать его, жалостливо пропел что-то. Парамоныч, дьячок, в темном углу невнятно читал какую-то божественную молитву, а иногда задумавшись почесывал у себя за ухом. Молодой нос опушился уже бородой, и служил медленнее, важнее, чем пять лет тому назад.

По возвращении из церкви, вместо курника съели только пирог с горохом, да закусили огурцом: это потому, что и день был постный да и новорожденного назвали Иваном Постным. А потом дальше так и пошло все плоховато, да ветховато, да гниловато.

Иному новорожденному маменька, пожалуй, заготовит еще и распашоночки какие-нибудь батистовые, с заграничными кружевами, да одеяльце стеганное атласное, а то и на лебяжьем пуху; а у вашего Вани-постного и рубашоночки не оказалось порядочной, не только теплого халата. Мама, видишь, вовсе не рассчитывала, что у нее родится еще какой-нибудь бедный Ваня, кроме ее боженного и молевого дитятки Расвасюрыньки: ну так ничего и не думала сначала-то, а потом было и задумала, да за хлопотами, да за суетой все как-то и шить-то было некогда.

Вместо беседки, в которой Вася беседовал в старые годы с Сампсонихой, теперь повесили лукошко, в котором индейка выводила в эту зиму пырышат; – вот в лукошко-то и высадили Ваню запросто, как пырышенка. Это, видите, все потому так случилось, что Марфа Семеновна, давши себе слово никогда более не родить, подарила еще в третьем году Васину колыбельку какой-то бедной солдатке, у которой муж был уже лет двадцать пять на царской службе. Индейское проклятое корыто с первых же дней как-то ненароком спрыгнуло с оцепы, и маленький крошка Ваня так брякнулся об пол, что у него закрылись глазенки и он полчаса лежал неподвижно, белый как полотно. Сидориха уж только и отходила его от смерти, подувая ему в плещивую голову – в темя.

А там и недели не прошло, как Вася заполз по глупости в индейское корыто приглубить своего братца Ваню да так родственно бросился ему в объятия, что левым мизинцем чуть было и глаз не выковырнул ему, вместо изюмины, – впрочем не многим поплатился Ваня за это свидание: разорвалось немножко с краешку веко – и только! На третий день после того ловкий Вася, в качестве хорошей молочной кормилицы, чуть было не утопил возлюбленного братца в

молочке. А кажись ведь ничего и не сделал такого: просто только приставил рожек себе ко рту, понатужился немного, да дунул в него. А вышла вон какая оказия: молоко точно из пожарной трубы так ударило и в рот и в глаза Ване-постному, что тот чуть совсем не подавился братцевым угощением. А через денек и опять вышла новая история: у новой кормилицы Ваня чуть было не проглотил соску! Мама даже в толк не могла взять, как это все случается: лайка, что ли, была гнила, или ниточка – только сосочка сорвалась с рожка-то да как прыгнет, шельма, в горло, словно устрица – так было там и засела, да уж мама постаралась – вытащила ее оттуда за хвост. А через два денька еще случилось с Ваней две новых истории, на которые уж мама за недосугом своим да беготней только махнула рукой да добавила, убегая в погреб: «Ах, Ванька, Ванька несчастный, и накормить-то тебя некогда!»

А на несчастного Ваню к году еще и немочи напали. Злобная золотуха такой ему подставила желвак в подзатылину, вместо подушки, что бедному Ване и лежать-то на спинке было невозможно. А за этим (вероятно, еще мало было) так потянула Ваню за левое ухо, что и глаз-то левый искосила ему на всю жизнь. Сама мама, которая не совсем-то долюбивала Ваню, и та грустно над ним выговорила: «Эх, Ваня, Ваня несчастный, хоть бы ты умер у меня; и Господь-то тебя не прибирает!..» На что Ваня смотрел только с удивлением своими большими синими глазами.

И в самом деле с Ваней все что-то не так клеилось, и как с Васей. Уж, кажется, самое близкое к Ване существо, бабушка Сидориха, и та как-то недолюбивала его писку, хвори и неумного плача, и та скажет этак изредка: «Господи! что это с этим ребенком маята-то какая, какой он неумчивый-то!» А потом и пошла опять: «У! шелопоглазый-пучеглазик! вылупил уж опять луковицы-то, не уймешься ты верно никогда, каторжник! Эх, опять глотку-то раздирает! Лежи! А то буку приведу». И за этими убеждениями Сидориха примется пугать Ваню (обидно даже сказать – чем) или маминой козой Машкой, или просто скрипучим колесом у телеги. Вавила дворник пойдет за водой, у него заскрипит колесо, а Сидориха уверяет, что это за Ваней коза пришла. А после этого еще в добавок так страшно выворотит свою черную косматую шубищу, что и сам неустрашимый Вася и тот затрясется от внезапного ужаса, а у трусливого Вани, так просто выпученные его глаза выворотятся на левую сторону. Полоторых годов чуть было какая-то соседняя свинья не съела Ваню, хорошо еще, что за него заступился отчаянный Цепляй, да соседней свинье оторвал за это напрочь левое ухо. Дальше, барыня Марья Александровна не обратила никакого внимания на Ваню; когда он в первый раз пришел поцеловать у нее ручку: это потому, конечно, что к этому времени Марья Александровна развела и своих собственных детенышей чуть ли не косой десяток. «Мне, – говорит, – и свои-то надо едают криком – несите этого вон! не смей и носить его в горницу!» Вот и только! А пальчиком опять подманила к себе Лили с кормилкой. Василий Иванович был верно такого же мнения, что своя рубашка к телу ближе. Словом, с Ваней все было иначе, нежели с Васей. И если кто не изменился в ласках к Ване маленькому, так это одни только дворовые бабенки да собачонки, особенно последние – те так и остались с ним приятелями по возрасту, как и с Васей. Да и то, я думаю, это осталось в них по привычке; мне кажется, у них уж так было заведено: они и перед губернатором виляли хвостом, если он приезжал к господам в гости, и перед немцем булочником виляли, если он приносил свои заскорблые хлебы немецкие, сильно засиженные русскими мухами, и перед трубочистом виляли, когда он приходил чистить барские трубы, и к жиду Марейке ласкались они, когда он хотел купить их на выделку собачьего меха, вместо бобра... Такая уж была верно ласковая собачья дворовая порода!

А прочая природа, не знаю, была ли сколько-нибудь ласковее к Ване. Первый, самый близкий, сивый тятин мерин – и тот оказался против Вани какой-то злой мачехой: ну, как через двадцать старых лет так вздумал вдруг разыграться и так копытом зацепил Ване за ухо, что некрепкую Ванину кожу пришлось зашивать и чинить ниткой. Тятя с мамой так и ахнули; они решительно не могли надивиться: как старый сивый мерин мог у них через двадцать лет так

разыгаться? «Еще слава богу, – говорили, – что по уху, не по голове, а то так на месте бы и уложил». Вот как недоброжелателен был против Вани и даже сам сивый тятинькин мерин, чего же ему, бедному, должно было ожидать от чужих лошадей, собак, свиней и козлов? Конечно, всякая чужая свинья готова была проглотить его целиком. Одним словом, рассматривая жизнь Вани с правой и левой стороны, ясно было видно, что это человек простой, ясно было даже видно, что он и рожден-то без сорочки, хотя этого нам и не сказывала бабушка Сидориха.

Но пока довольно. Теперь мы обратим внимание на то, что в особенности затрагивало маленькое сердчишко Васи, к чему он в это время более был привязан и кого в особенности бессознательно любил.

Не получивши от пеленок правильного понимания об окружающем мире, Вася начал уже и с этих нежных лет мало по малу относиться к нему как-то враждебно. Вместо чистого наслаждения милым цветком, он уже находил наслаждение другое – человеческое: растерзать его милую головку, расщипать его чудную красоту и, как прах земной, развеять его по земле; вместо того, чтоб любоваться милой и пестрой бабочкой, Вася уже изобретал средства, как бы поймать эту милую бабочку, и потом, наигравшись ею, оборвать ее прелестные крылышки и растерзать это маленькое существо. Наконец далее: чувствуя в себе какую-то особенно-животную силу, любуясь милым воробушком издали, Вася в то же время загребал в маленькую горстишку свою большой камень и силился уже половчее запустить его так, чтоб пополам перешибить этого маленького крошку-воробушка. С голубями он поступал отнюдь не почетнее, – о галках и воронах нечего и говорить. А против мух и тараканов, которых мама с Ионовной и тятя с Анхимычем называли зловредным гадом, Вася оказался самый зловредный человек. Мух, например, он выучился необыкновенно ловко хватать горстью со стола, на кухне (где была главная столица мушиного королевства), и после каждого взмаха, поднося еще кулак к уху и послушавши, как в нем ревет целый пчелиный рой, бесчеловечно швырял их всех в лохань с помоями, или, размахнувшись, сильно хватал об пол и еще подробно рассматривал, много ли он из них сразу до смерти заколотил. Гораздо снисходительнее обращался он с тараканами. Забившись на печь (где была главная столица тмутараканского царства), он хватал за ус рыжака, выглядывающего на него с удивлением из щели, обрывал ему ноги и только вывешивал его за усы. Более всего любил он рассматривать тараканье яйцо, похожее на маленький дорожный чемодан, до того укладистый, что в чемодане этом помещается до пятидесяти новеньких таракашков, которые когда все выползут, так делается непостижимо, как они могли все поместиться в такой маленькой квартирке, которая, право, теснее еще чиновничьей квартиры в Петербурге. Вася делал также бойкое нападение на пауков, и – к несчастью же всех пауков – в это время он узнал от Ионовны, что тому прощается даже сорок грехов, кто убивает паука. И вот, узнавши, что несчастные долговязые секи-ноги были самые смиренные и плохие пауки, Вася засел их ловить и не более, как в один счастливый месяц передушил их бездну. С раннего утра вплоть до глубокой ночи он только тем и занимался, что выдергивал длинные ноги коси-ногов, клал их на стекло или на что-нибудь гладкое, и беспрестанно повторял над ними: «Коси нога, коси нога!» До тех пор, пока эти ноги не переставали судорожно подергиваться, или косить. За этим клалась на стекло новая свежая пара ног, которая для удовольствия Васи должна была тоже без туловища поплясать по стеклу. Впрочем, в настоящее время Вася был уже смел не только против одних коси-ногов, секи-ногов, или, по-ученому, косарей он даже, по приглашению мамы, ловил с ней и мышей в амбаре, в крупе, да не только изловчался смести крылом в воду маленького серенького злодея, а прямо даже ухищрялся подсесть его на бегу.

Впрочем, эти бессознательные, неразумные шалости, где еще вовсе не намекалось на то, что значит умертвить или убить, происходили, конечно, более от резвости ребенка, нежели от жестокости его сердца. Да, по моему трудно допустить теплую мысль, будто человек может родиться с жестоким сердцем. Не направление ли во всем этом виновато? Очеркивая злодеяния моего маленького резвущки, мне хочется заступиться за него и не только извинить, а

прямо оправдать его перед вами: ибо и соприкасаясь к такому жесткому миру, как барская дворня, сердце маленького Васи в это время было готово еще на многое мягкое и доброе. И вот тому примеры.

При сломке старого флигеля отец подарил Васе пару вынутых из гнезда, маленьких и слабеньких желто-шелковых голубят, и при этом растолковал Васе, как только мог, что они теперь сиротки – без тяти и мамы – и потому так жалобно пищат; растолковал также, что они голодны и что их надобно бы покормить. Вася тотчас вызвался быть голубиной мамой и в тот же день выучился от отца своего – изо рта кормить птенцов своих творогом, и заботливо выполнял эту материнскую обязанность до совершеннолетия своих детей. Правда, что в то же время он невзлюбил другую пару – маленьких, синих и голых галчат: тех он называл не иначе, как обжорами, не мог слушать, когда они кричали по-галочьи, и даже не решался брать в руки холодное их тело. Но все-таки, когда мама растолковала ему, что и эти без матери умрут с-голоду, Вася вызвался тотчас и этих воспитывать. Конечно, воспитание последних было похоже на воспитание пасынков, и Вася никак не решался кормить галчат изо рта, уверяя маму, что они и губу его откусят; но все-таки, из сожаления, каждодневно забивал крикунам своим, в широкие их рты, порядочные куски каши, и они все-таки не умирали, глотая пилюли от нового своего родителя. А когда этот родитель добирался до горшочка Ванина, так отпускал им, как пансионерам, по порции и молочной каши.

Рассматривая сердечную жизнь моего маленького Васи, я готов здесь до мелочей представить еще и другие события, где она проявлялась.

Вася, например, с удовольствием посматривал, как отцовский легавый кобель Евтушка, что-то в особенности злобный против котлет, отлично подбирался к ним на кухню, через окошко, и еще так дружелюбно посматривая стеклянными глазами на повара Анхимыча, шельмовски пошевеливал перед ним хвостом. Вася не только веселился сердцем, что у тяти его такой ловкий пес, Вася даже прямо раздражался громким смехом, когда ловец-Евтушка, из-под самого Анхимычева носа, выхватывал-таки себе подачку, да так ловко, что Вася не успевал вовремя вскрикнуть: «Посмотрите, посмотрите, Анхимыч, этакий подлец Евтушка-то, какую опять изловил штуку!» – За то с сокрушением сердца посматривал Вася на глупую Алоизу, которая, как нищая ханжа, с поникнутой головой, заходила блудить на кухню в двери и тоже протягивала глупый свой нос к остальным котлетам. Вася вперед уже чувствовал, что ловкий поваренок Типка поддаст Алоизе кипятку с-заду, как на каменку, и ребяческое сердце его сжималось от боли; когда Вася слышал жалобное южание<sup>7</sup> Алоизы, похожее на плачь человека, он как будто пугался, и слезой подергивало его детские глаза, когда он смотрел на бедную Алоизу, ползущую как ребенок, или вертящуюся на одном месте, как кубарь.

Эту сердечную нежность, теплоту и соболезнавание ко всему окружающему в нем еще более поддерживала сама мама. В этот нежный период Вася более всего на свете любил маму, слушался ее безусловно и постоянно был при ней. Тятя замечен был более по гостинцам с базара и употреблялся еще только для острастки Васи, а от мамы Вася получал первые свои убеждения, около мамы учился он мыслить и маме же доверял первые свои незрелые, глуповатые мыслишки... конечно, когда маме было время с ним толковать или терпеливо его выслушивать.

Нежные их отношения можно видеть и из случаев таких, например: Вася не только с особенной заботливостью кормил маленьких маминых цыплят яичком (которое сам даже и рубил как можно мельче, чтобы крошки не подавились), он даже иногда подкарауливал и летающего над пырышатами ястреба и с страшным испугом прибежал к маме объявить такую неминуемую беду. С особенной нежностью слушал он, как его звонкая мама заливалась на заднем дворе, с любовью подманивая к себе бестолковых птенцов своих: «Пыр, пыр, пыр!» – или вдруг строго

---

<sup>7</sup> Южать – визжать, плакать, стонать от боли.

вскрикивала: «Цыпышь, вы, чертенята этакие! Тига, вы, лешие!» Он даже с любовью поглядывал, как мама, шепча и поплеывая налево, мыла из корытца ножки новокупленному цыпленку, затем, чтобы тот не сбежал у нее со двора. Он даже как будто сердился на тятю, когда тот, проходя мимо в амбар свой, кричал на маму: «Полно тебе бабьими глупостями заниматься-то! Ты лучше отруби ему ноги-то, вот он тогда и не уйдет от тебя никуда. А то с ворожкой-то твоей да с чертовщиной... Выпусти-ка его из хлева-то, как он прыгает, – он тебе хвост-от покажет». На что кроткая мама отвечала только: «Ну, когда же хвост покажет! Что пустяки-то говоришь? не покажет он хвоста!» И все-таки с шепотом домывала ножки до конца. А Вася был на ее же стороне: Вася и сам был того же мнения, что маленький цыпленок не покажет маме хвоста.

Вместе с мамой потешались они над плутоватым ее цыпленочком Оборвышем, который хотя всех был меньше, но при этом всех сметливее и шельмоватее. Оборвыш, например, всегда ложился на землю в то время, когда мама кидала кашу всем своим воспитанникам-цыплятам, и когда прочие глупцы бегали по нем, топтали его, с писком поднимая кверху носы и бестолково прося еще корму, Оборвыш, лежа под ними, выклевывал всю кашу, и так за всех наедался, что кожа на нем раздувалась, как пузырь, и жесткое перье поднималось, как на еже щетина; так что этот плутоватый Оборвыш и маму занимал до улыбки, да и Вася смеялся до слез, указывая на раздутого карапузика и повторяя: «вон как опять налопался, мама, – смотри!»

А после веселого смеха над Оборвышем, они вместе с мамой горевали о молодом котике Мурыске, который подрос было с такими славными усищами, да Вавила дворник нечаянно-злобно перешиб его избной дверью; вместе с мамой тужили они также о кончине хилой маминой курочки Анны Андревны. И так это все было горько, что Вася дал маме родственное обещание обоих покойников богато и пышно похоронить, под сараем, и даже поставить над ними монументы из кирпича, а если достанет силы, так, пожалуй, взворотить и надгробные камни из тяжелого алебаstra.

Маме же Вася жаловался на то, что теперь ему скучно без молодого и резвого Мурыски, и в маминых же глазах припадал к шее мурыскиной сестры, Маришки, и нежно ей выговаривал: «что, Маришинька, скончался брат-от твой? – теперь и не с кем поиграть-то тебе, бедной» – а действительно молодой бедной Маришке не с кем было поиграть, потому что серьезный старый кот Васька спасался все в кладовых и подвалах. А бедная молодая Маришка оставалась дома одна и от скуки загребала себе в окошко лапкой гостей с улицы. А иной раз, например, слышавши свою маму, звонко кричащую: «цип, цип, цип!» Вася весело прибежал и вступал с нею в разговор такого рода:

– Мама, а мама! отчего эта курочка с коротеньким хвостиком, а эта вон с каким хохлатым?

– Это, сынок, петух называется, а не курица.

– А-а... Что же, кто петух-то, значит, мама, такая же ведь курочка?

– Ну когда же курочка, – поправляла мама с ласковой улыбкой: – не курочка, а петушок; – это мужчинка значит, а курочка-то девушка.

– А-а!.. А что, мама, петушок яички-то несет, что ли? Такие же, как курочка, или большие?

– Ну вот, глупенький... Ну когда петух несет яйца! Петухи никогда не несутся.

– Ну, так что же, мама, его в пирог не изрежут?

– Ну, потому не колят петуха, что он нужен бывает.

– А?... нужен бывает? Да зачем же он, мама, нужен-то бывает: ведь он яичек-то не несет?... а?... мама?..

Мама при последнем вопросе переставала улыбаться. Она даже как-то особенно нахмурилась левую бровь и отвечала с запиночкой: «Ну, это... ты, сынок, там когда-нибудь сам после узнаешь».

Из чего Вася выводил свое собственное заключение, что-то верно мама и сама-то не совсем твердо знает. И стал после того бессознательно отличать петушка-утиного от курочки-уточки, и стал даже приходиться к матери с жалобой: что селезень, петушок-утиный, все дерется с уточкой, да кричит на все, да теребит ее за хохолок. Да стал рассказывать маме, что петушок ее голландский Антошка-долговязый все только похаживает, да курочек к себе подманивает, да покрикивает: сам не клюет, а любит только их угощать – так весь навозик им и пожертвовал.

Вот каковы были понятия Васи в этот период его жизни. И как бы мне хотелось, мой дорогой читатель, еще подольше задержать перед тобою этот непорочный образ милого моего ребенка. Но... увы, мой бесценный читатель! жизненный напор, как в худое днище ладейки, начал уже отовсюду сочиться в душу ребенка, и милый мой дорогой Вася начал уже проявлять такие поступки, которые сами собой заговаривали ясно, что его начинает топить уже жизнь – и вот уже обхватывает его она – великая, как океан – в свои роковые пучины!

Да, и с пяти лет уже стало заметно, что пытливому ребенку Васе было очень недостаточно одного обыденного животно-бессловесного мира. Воробышки, голубки, котятки, азоры, шиверюшки – и даже самый глупый Ваня с ними – говорить ничего не умели, а Васе часто хотелось уже и поговорить. И как на беду еще тятя с мамой вечно было некогда; Ионовна – целое лето на богомольях, а Анхимыч все только жарил да варил и ничего не говорил.

Оставленный и брошенный всеми, Вася пускался в новые, изобретенные им для убивания времени, игры. Он, например, от нечего-делать стриг иногда ножницами блины, или в масляный блин завертывал ломоть хлеба, чтобы вкуснее поесть, или, еще лучше, выкусывал в блине четыре дырки, надевал этот блин себе на рожицу, как маску, просовывал в последнюю дыру язык и поддразнивал им маленького, удивленного Ваню. Когда бестолковый Ваня расчухивал, что под блином сидит сам Вася, он начинал ухмыляться и протягивать к блину лапки. Васе в это время делалось как будто немного веселее; ну, а все скучно, потому что Ваня ничего еще не говорит.

И вот из всего этого вышло наконец то, что, несмотря на запрещения мамыньки не уходить далеко от ворот и не связываться крепко с уличными мальчишками, которые, говорит, зашибут еще Ваню, – Вася не вытерпел, свел-таки знакомство и с Ванькой-рыжим, и с Матюшкой-разбойником и с Акулькой-сверстницей, которую барин называл еще девкой-чернавкой – и даже с соседними полунемцами, детьми настоящего немца столяра.

Что же сказать вам о новом знакомстве и друзьях Васи? Если бы я был смелый аналитик сердца человеческого и его духовных сил, я не затруднился бы найти место для новых друзей Васи в кругу мировых существ, а теперь я не знаю, как их точнее и определить? Это были не кутята и не волчата, потому что имели дар слова и что-то лепетали по человечески; а с другой стороны, разбирая жизнь их, мысль и слово, никак нельзя предположить, чтоб это было люди-дети, имеющие что-либо общее с человеком – в настоящем смысле этого слова. Они даже не были чем-то средним между человеком и домашним животным, – и если кому-либо из них принадлежит это почетное место, так разве только Оленьке Почечкину и Акульке-сверстнице, которые, хотя и бегали по-собачьи, травили телят и кошек по-зверски, кусались по-волчьи и царапались по-кошачьи, но все-таки имели на себе облик человеческий: опрятно ходили, причесывали волосы и даже изредка отмывали себе руки и лицо; эти не только говорили, даже и ругались как-то нежно и благородно. Прочие же приятели Васи и этого благородства не имели, а были – если можно так выразиться – какое-то особенное домашнее зверье, сильно испорченное нахальным воспитанием дворовой, людской и конюшни, да окончательно загаженное наречием заднего скотного и скотского двора. Ванька, например, рыжий: он был вовсе не то, что называется уличный мальчишка, а мальчишка-мерзавец в полном значении этого слова. Он переругивал всякого кучера вдоль и поперек самыми крупными, размашисто-широкими перебранками. Самое удалое его лихачество заключалось в том, что он за кусок калача, или копейку съедал на показ цельную свечу и еще торжественно допрашивал зрителей: «Каково?»

Самая веселая его штука заключалась в том, что он веснушчатый свой нос и даже вместе с головой засовывал минут на десять в парной назем, чтоб распотешить всю честную компанию кучеров и фореиторов, которые, залпом хохоча над представлением Ваньки, кричали еще ему в похвалу: «Ай да Ванюшка, молодец!» Матюшка-разбойник был зверь совершенно другого сорта: приземистый и коренастый, он сцеплялся со всеми уличными мальчишками и, несмотря на то, что в побоищах этих и глаз ему покосили, и вечно ходил он с синяками и подставленными под глазенки фонарями, все-таки был грозен для всего детского робкого народонаселения. Матюшка-разбойник, в случае нападения большого человека лихо хватал даже острую кость или горлышко бутылки и, размахивая ими, с налитыми кровью глазенками, кричал почти с неестественным скрежетанием зубов: «Подойди только, так и разражу!» Самые удалые фарсы его заключались в том, что он стоял на одной ноге на домовой трубе, и, кувыркнувшись в воздухе, верно спрыгивал на конец крыши и плясал тут в присядку так же смело, как и по забору, убитому железными гвоздями, торчащими вверх наподобие гребенки. Самая важная его штука заключалась в том, что Матюшка-разбойник, на показ, со словами: «раз, два, три!» проглатывал нежеванным живого черного таракана, с божбой уверяя, что он шевелится у него в брюхе, и еще, залихватски обращаясь к оторопевшему Васе, приговаривал: «А ты, брат Васька, дрянь, вкусу не знаешь: это просто черносливинка-матушка, вот что!»

Вот те образцовые типы, с которых Вася, как с модных львов гостиных, должен был заимствовать для себя свой новый модный покров. И признаться, если кто из приятелей поближе подходил к Васе по характеру, трусости, робости и детской простоте, так это дети Богдана Иваныча, или Ивана Богданыча – что-то вроде этого. Карлуша и Карпуша сначала и очень было снюхались с Васей, даже частенько стали к нему похаживать, да вдруг – черт знает, что с ними сделалось – в них оказалось что-то этакое немецкое: они вдруг стали прислушиваться, да присматриваться, да ахать, да вылуплять белки свои, похожие на луковицу, да заговаривать с Васей по-русски так закомуристо, что и сам черт их не разберет; даже фореитор Никишка, этот уж стал над ними смеяться, да стал называть их «немчура, картофельное брюхо, крахмальные ноги». А потому так и вошло на разлад между Русью-матушкой и немцами-карлушами: чуть Вася дунет этак одного – ну тотчас оба в слезы, как будто слезы-то у них были вовсе не покупные. Так и не сошлись. Чуть этак маленькая завороха – смотришь, сам немец тащится к дворецкому, дворецкий зовет Васю на расправу – к допросу: как было дело? А потом и пошла писать, – так и расклеились со столярятами. Ну, за то крепче всего склеился Вася с Оленькой Почечкиным, с которым они не только ходили в сад мечтать около малины и крыжовника; часто даже видали их рядышком висящими на высоком дереве. Акулька-сверстница запрягалась, как лошадь, в салазки и тележки, а если не ездил еще Вася на ней верхом, так собственно только потому, что Акулька была мала и бессильна.

Вот тот приятельский кружок, в котором Вася повел было свои маленькие дела. Был ли Вася сердцем привязан к этому кружку? – я этого, читатель, тебе не скажу; узнаешь впоследствии. А теперь я сообщу тебе только, для порядка событий, что, несмотря на новые запрещения, новые подтверждения, новые угрозы маменьки, не связываться с такими головорезами, Вася свел-таки знакомство с целым кварталом и часто-часто стал к соседям не только похаживать, даже через заборы помахивать, а Ваню маленького протаскивать за собою туда же сквозь заборные дыры, или собачьи подлазы.

Вот так-то и началось дальнейшее развитие ребенка. Сначала опытные в шалостях соседи смеялись только над простотой Васи, как над глупостью, и делали с ним истинно злодейские штуки. Уверят, например, Васю, что белый, заиндевелый топор – в сахаре, и предложат Васе лизнуть. Вася так лизнет, что с половины языка примерзшая кожа останется на топоре. А приятели еще потешаются: – смешно, – рады – надули фефелу.

Потом ученые соседи обучили Васю прыгать по улице на одной ноге и кричать, бестолково вылупив глаза: «Дождик, дождик, перестань, мы поедем во Рязань, богу молиться, Христу

поклониться!» И Вася, как жрец Ваала, беснующийся перед жертвенником, взывал о прекращении дождя, в то время, когда дождя вовсе и не было. В дополнение к этой нелепице выучили его говорить еще чепуху такого рода: «Убоихса зело, чтобы в наше село сила вражья не вступила, сиречь перцу не дала». А за этим выучили его еще тверже выговаривать вот и такой длинный вздор: «Первелики, другелики, трынцы, волынцы, четверо – дранцы, пятой – ладов, шахман – лохман, шишел – вышел, Родивон – поди вон!» И хотя эта соседская ученая дичь, по нашему человеческому разумению, не имеет никакого применения и даже здравого смысла, однако – по мнению ученых соседей Васиных – не знаясь – считалось за решительное невежество, и того даже не принимали в военные игры, кто не знал этой закомуристой чепухи, – точно так же, как у нас не признают того за врача, кто не знает твердо того языка, которым говорили на кухне Цицерона. И Вася, чтобы попасть в компанию ученых соседей, должен был твердо знать всякую соседскую дичь. Что же делать? такие уж положены были соседями условия: ученики должны знать то, что задают учителя.

После того, снюхавшись поближе, ученые соседи заманили Васю пробежаться с ними запауски около всего квартала, в крещенские морозы – босиком. Это кругосветное путешествие было так жутко для неопытного в этом деле новичка Васи, что, по возвращении с бегу, окоченевшие ноги свои он засунул под плиту на кухне, как головешки, и несмотря на сильный кухонный огонь, они не могли отогреться ранее, как через полчаса! И хотя Вася плакал над своими крепкими русскими отмороженными ногами так же горько, как барыня, носящая шляпочку французскую на морозище русском, однако не утерпел – опять ушел к соседям.

Зато ученые соседи осмелевшего Васю начали понемногу натравливать даже и против таких передовых личностей, каковы, например, были Ванька-рыжий и Матюшка-разбойник-косоглазый. И этим Вася издали начинал уже покрикивать нечто вроде такого собачьего подзадоривания: «Рыжий красного спросил, чем ты голову красил?» Или Матьке-косому: «Косой заяц, нанес яиц, вывел детей косых чертей!» Конечно оно, за все за это, сплеховавшему Васе временем и очень-таки больно доставалось; ну, да за теребачкой он так же не гнался, как русский мужичок за зуботычиной и тычком; наплевать, говорит, на все это: до свадьбы заживет! За то уж канальски стал смел.

Он не только стал покрикивать прямо в глаза Ваське-рыжему: «Рыжая собака! рыжий семерых выжил!» или Матюшке с правого прямого глазу: «Косой черт! цыганенок!», стал даже покрикивать дремавшему на бочке водовозу: «Эй, дядя, смотри: ось-то в колесе!» да так громко, что проснувшийся водовоз начинал вертеться на бочке, как на шиле, и заглядывать с обеих сторон под телегу, чтоб распознать окончательно, что в самом деле случилось с его экипажем, на что ему указал добрый мальчик. А добрый мальчик захохочет со всей челядью, подожмет еще одну ногу к заду, а на другой ускачет в сторону, как воробей. И этого всего мало; он стал даже из-за забора покрикивать идущему с ношей ярмарочному татарину: «Князь-лошадный! татарин-собака! татарин, кошку ожарил!» Покрикивал даже с крыши и крещеному жиду Марейке: «Эй, Зюзя! жид, свиное ухо! Иуда христово продавец!» и не только покрикивал, а как-то особенно ловко свертывал полы своего сюртучишка наподобие свиного уха и показывал эти уши из-за трубы рассерженному Марейке. Не щадил он даже и семинаристов и тем ловко кричал вдогонку: «Поповичи-дергачи! шиняшка, и-го-го! жеребята! дурья-порода! птру-со, птру-со!» А под конец так даже до того стал смел Вася, что и голодным приказным, поздно-бегущим из должности, покрикивал смело сквозь щели забора: «Срокули, стрекуляция! канцелярское семя, приказеры, крючки, приказная строка!»

И все сходило ему с рук. Сходило ему с рук и самое катанье на бешеных лошадях с пьяными кучерами, когда объезжали они бешеную русскую тройку барскую; цел он оставался в то время, когда форейтор Никишка, растерявши всех пьяных кучеров, каким-то чудом привозил Васю одного домой; сходило ему даже бешеное бросанье на запятки чужих санишек, или на дровни мужицкие в то время, когда они во весь опор мчались вдоль улицы. Да и мало ли что

ему сходило – всего даже не перечтешь! Ну, за то скоро узнал он все уличные школьничества: стал хорошо играть в свайку, прекрасно в козны, отлично клеил змей с трещоткой, и как кошка стал цепок на заборах, и как векша стал он лазить по углам и крышам.

А что касается до травливания Азора и Цепляя с чужими собачонками, телятами и боровами, так Вася так ловко выучился их взывать, как взывает только самый ловкий доезжачий в отъезде поле. Часто даже случалось так, что глупый телюш, вылупив с испугу оловянные глаза и поднявши при этом хвост строкой, как полусумасшедший забегал сдуру туда, откуда приходилось вытаскивать его из ямы народом, всего опачканного желтою краской. Боровов, по приказанию Васи, рыжий Пальмерстон выводил вежливо за ухо на улицу и, несмотря на страшный визг их, провожал всякого до угла и разве только там уже, при размашистом и крутом повороте в переулок, отрываясь от свиного уха, кувырчался иногда вверх тормашкой, что, впрочем, по ловкости Пальмерстошки, было очень редко. В настоящее время Вася уже с наслаждением посматривал на шельму Азора, когда тот, султански пошевеливая хвостом, поглядывал красными, огненными глазами в ловушку, где сидела приготовленная для него, бедная заключенная крыса. Вася с наслаждением рассматривал ловкость Азора, когда тот, запускаясь по двору охотиться за выпущенной крысой – к величайшему удовольствию и крику дворовых – на лету хватал ее поперек и тряс до тех пор, пока несчастная не издыхала. Еще интереснее для Васи была охота на ежей. Задорный и злобный Цепляй до такой степени был враг ежовый, что несмотря на свои собственные мучения, несмотря на свое жалобное южанье, вытье и лай, несмотря на то, что в кровь исцарапывал себе морду и лапы, несмотря наконец на то, что кровь лила ручьями с его собственного языка – Цепляй все-таки злобно кидался на ежа, свернутого клубом, и снова раздирая себя жестокими его иглами, одерживал-таки победу – задушал наконец ежа зубами, или перекусывал пополам! Васю даже начинала теперь затрагивать и интересоваться сцена такого рода: лихой поваренок Моська, отрубивши напрочь голову индейке, для потехи дворни, выпускал ее из рук, и безголовая индейка, брызгая и обливаясь кровью, бегала по всему двору. Дворня с наслаждением смотрела на эту сцену и хохотала, а забрызганный кровью лихой поваренок Моська носился за нею с окровавленным ножом и, растопыривая руки, кричал во все горло: «Помогите, братцы, не поймаю проклятую!» И Вася первый готов был оказать помощь лихому поваренку, и первый загребал в маленькую горстишку камень, чтобы еще-таки ударить бедную индейку, уже лишенную жизни человеком!

Вот, вот что вышло из Васи! И это не более, как через два года после того, как виделись мы с ним в первой главе.

Тут-то бы вот и подвернуть нравоученьице, хоть вроде такого: «как там, мол, ужасно вредно давать детям свободу; да не лучше ли защемить их родительскими клещами, да не водить ли их за собой на привязи, на веревочке, как собачонок по Невскому проспекту», – ну, словом, подвернуть такое нравоученьице, которым у нас, во время оно, заканчивались хорошие басни. Но как рассказ мой не басня, а нравоучений мой важный читатель терпеть не может, – они ему уж насолили, – так мы и объедем окопесиною на нашу прежнюю дорогу, да поведем опять рассказ о том: в самом ли деле это так ужасно, что мой резвый Вася сделался таким неумным шалунишкой, или это нам только показалось, будто он сделался негодяем?

Да, именно только так показалось. И хотя сильно загубел его голос и нежная речь, хотя сильно загрязнились и заскорбли его руки и ноги, хотя сильно порыжела его белая, нежная кожица на шее, хотя сильно потемнели и ошетинились его мягкие светло-русые волосы – в нем все-таки не потемнел его младенческий образ. Вася еще очень грустно посматривал на отца, с притачиванием ножей готовящегося заколоть мамина цыпленка. Вася еще с сильным биением сердца смотрел на трепетание крошки-цыпленка под ножом тятиным, и полною младенческою грудью выговаривал отцу: «Эх, тятя, зачем ты его этак!..» И затем слезы брызгали из его прекрасных глаз. Нет, не потемнел в нем его младенческий образ! А мне он-то и нужен, мой дорогой читатель. Да, – он! Много я видал на своем веку и нежных ручек, и белотелых

шеек, и мягко-шелковых волос, но они большею частью сделались мне противны, потому что в них потемнел их младенческий образ. Я даже сам себе противен в эту минуту, потому что и во мне потемнел мой младенческий образ!

А младенческие годы Васи шли своим чередом, и к нему еще ничто нечистое и грязное крепко не льнуло! Шалил он потому, что другие шалили, выкидывал скверную штуку потому, что другие ее выкидывали, бранился скверными словами потому, что все около него бранилось – да еще погуще его; наконец ссорился и дрался со всеми собственно потому, что порядочный человек без буйства и ссоры уж жить не может, – это уже так заведено. Да и как мне примирить Васю с ребятишками, когда перед ним, для примера, даже целая дворня грызлась по собачьи? А всякому известно, какое важное значение, для начала дела, имеет передовой тьяк собачий и как легко потом заливаются за ним и все прочие моськи, шавки и даже щенята. Как же после всего этого не огрызнуться и Васе? Но и огрызнулся он все-таки бессознательно.

И если подкрадывалось к Васе в это святое время какое-то темное, как призрак, сознание, так это только то сознание, на которое беспрестанно указывала ему мама, а именно: что он у нее не барчонок, и что он стал теперь грязный уличный мальчишка.

Действительно, когда Вася (по указанию мамы) искоса посматривал на барчат, то он и без объяснений видел, что на тех не только рубашки и пояса, но и кресты-то христианские – и те были вовсе не такие, как у него, простого мальчика, – такие славные рубашки и кресты, что только посматривай да дивуйся. – Но и на это Вася как-то мало обращал внимания: он будто уже практически и основательно познал, что тому нельзя быть вечно чистым, кто с утра до ночи копается в земле. А поэтому и выходило всегда, что и, прослушавши совет мамы и посмотревши на барчат нарядных, Вася как будто подумывал: «Ну, они сами по себе, а я сам по себе. Пойдем, Азорка, вальнем!»

И затем тотчас начинались гимнастические упражнения с Азором и Шеверюшкой, которые ей-ей лучше и живее французских – жаль только, что не обратят на них у нас внимания.

Здесь кстати бы сказать, что в настоящее время Васе было бы приличнее делать свои гимнастические упражнения с братом Ваней, нежели с Азором и Шеверюшкой. Да вот беда: от брата Вани Вася как-то все топырился прочь. Мама иногда и сама приглашала Васю понянчиться с Ваней, да как очутится на том синяк или шишка – смотришь, Васе большаку опять и досталось за Ваню. – «Играй, говорит, да не заигрывайся смотри!» – Вот на этом-то основании Вася и думал о брате так: «что с ним возиться?» – Ну, а с Азором и Шеверюшкой можно было и покрупнее обращаться: плакать они не плакали – взвизгнут только изредка разок: шишка у них никогда не вскочит, а синяк хоть бы и очутился, так его решительно не видать под косматой их шубой. С ними и опять-таки свободно можно было развивать свои физические силы. А за развитием физических сил, Вася незаметно дошел и еще до новых, свежих сознаний. Он, например, стал замечать за собой, что в руках у него делается какой-то зуд, и как будто они, вместо маминой иголки с лоскутчиком, теперь более хватаются за то, что потяжелее и погуще – ну, словом, за то, за что более хватался уже тятя, а не мама. Он даже стал замечать, что в маленькой его голове все чаще и чаще вертится вопрос: «а как это он там делает? – а что, не посмотреть ли?» И эти вопросы стали Васю частенько переманивать на тятину сторону, и Вася незаметно стал более поглядывать, да более подсматривать, да более выпытывать, что и как там делает тятя. А из этого и вышло, что тятя с Васей как-то скоро снюхались, и тятя незаметно показал ему все свои многосложные деяния, да стал его иногда и с собой поприхватывать: то в лавочку, то за базар, то за водой, а то, пожалуй, и на рыбную ловлю. Не прихватывал его тятя только на охоту, потому что Вася с мамой боялись тятиного ружья, которое больно хлопает пистонем, да обоих их пугает. Одним словом, не более, как в полгода, из мальчика-девочки с помощью тяти превратился в совершенного мальчика, и только разве по одному уж лизоблюдничеству слыл еще за маменькина сынка.

За тятьей Вася стал попристальнее всматриваться и в деяния прочей дворни по мужской уже линии. Впрочем, мужские личности, окружавшие его в этот период, двигались еще перед ним, как какие-то бестелесные, неосязаемые тени, и весь этот омут житейский, называемый большою барскою дворней, был похож – если можно так выразиться – на огромный шипящий и клокочущий котел, в котором, Вася уже замечал, что-то варилось; но по слабому запаху, а еще более по неразвитому вкусу, – он далеко еще не мог раскусить: что это такое и зачем? Только самые близкие личности, мама с тятьей да Ионовна с Анхимычем, выяснялись перед ним, как милые, незабвенные образы детства, да и то понимал и любил он их более сердцем, нежели умом. И если бы кто-нибудь из любопытства спросил ребенка: «За что он их так любит?», то немудрый Вася конечно ответил бы не более: «Так люблю: маму за то, что она целуется все со мной; тятю за то, что он на салазочках все меня катает да растолковывает; Ионовну за то, что она сказочки рассказывает славные, а Анхимыча за то, что он больно сладко меня кормит». Вот и только! А если кроме этих сердечно милых образов, кто-либо более и ярче представлялся Васе, так это один только соседний лавочник, который, по доброте своей, иногда давал Васе такие жемочки, которые тятя с мамой по сахарному разрубали ножом, да так, что от жемочков летели искры, как от кремня; – решительно уж один только Васин зуб и мог точить этикие милости. Лавочника этого Вася издали узнавал по ястребиному носу с загибом да по козлиной бороде. Дворня называла лавочника-соседа Скупчиком, а тятя для разнообразия величал его «шклярвой» и «сквалыгой»; мама же изредка отзывалась он нем таким изречением: «А добрый, брат, мужик-от, – ничего». Конечно оно бы ничего, – с этим и я согласен, потому что Скупчик попаивал иногда тятю с мамой и соломенным чайком, притом же и кланялся всегда нижайшим манером, – да мне-то он известен как естественная скряга, такая уж естественная скряга, у которого даже собственная борода, и та росла скупом: не пушисто, как у всякого порядочного моховика, из породы бородатой купеческой, а так, какими-то плешинками с ключем, наподобие редечного хвоста, да с такими жесткими и толстыми костышами, вместо человеческих волос, как будто сам Господь дал ему эти дикобразовы щетины на крепость, собственно затем, чтоб они никак уже не оборвались и не причинили бы этому человеку убытку, ибо человек этот от убытку удавится.

Вот тот небольшой, но полный мирок, в котором по-своему жил мой маленький шести или семилетний Вася. Чистые наслаждения его природою в это время подслащались и разнообразились не одной уже только вишенкой да сладкой маминой малинкой с пушком, а часто и тятиной родимой красной смородиной – кислятиной. Как насыплет в шапку тятя, да скажет запросто: «ешь, брат, покуда не вспотеешь!» – так не только глаз на сторону покосит, просто как гвоздем оба выворачивает из глазниц, рожицу-то всю Васе покоробит: нос-то весь сдернется сморчком, – вот каково тятинькино угощение! Ну, а спроси-ка кто у Васи: «Что, брат, каково?» Ей-богу, скажет: «Сладко, ничего!» Впрочем, не нужно бы и божиться: этому пока все мы безусловно верим. Раз уж только чересчур напавши на смородину, потрясет головой, скажет: «Будет, уж не хочу». Да спросит затем отца: «Что это, тятя, на зубах-то как скверно?» А тятя, для пояснения житейских истин, отвесит ему новый медицинский термин: «Это, сынок, оскомина называется». Вот тебе и объяснение. А что такое оскомина? откуда она? зачем?.. ну, это ты, сынок, так после когда-нибудь сам уж узнаешь. И Вася приходит опять к тому же заключению, что это верно тятя и сам-то не совсем твердо знает.

Узнавши, что это и весь окружающий Васю мир, мой строгий критик укорит меня в непростительной ошибке, что я не очеркнул пред ним ярче и не представил менее образов тяти и мамы; а по его справедливому мнению, они здесь главные действующие лица. Это потому, мой ценитель и расценщик, что они сами пройдут пред тобою об руку с Васей сквозь весь роман, и сами, вместо описания моего, представят тебе свои личности и поступки. А из поступков, по-моему, виднее человек, нежели из его незамазанного, непорочного формулярного списка. Что же касается до портретов тяти и мамы, то для тебя верно все равно: будут

ли они беленькие или черненькие кожей – лишь бы были люди. А что они «люди», так в этом нечего и сомневаться: их даже во всем городе никто не называл ни крестьянами, ни мещанами, ни купцами, ни дворянами, а просто – «людьми». Иногда к этому как будто для пояснения добавлялось: «крепостные», «дворовые», «господские», – ну, а в сущности все-таки выходило: «люди», а не что иное.

Главная моя забота теперь вот в чем: показать, что такое Вася. Вот это дело другого рода.

До сих пор вы видели только котят, да голубят, да маленького мальчугана, который забавлялся с ними, как котенок и голубенок; да видели мы еще собак и людей, да бегающего между ними шестилетнего ребенка. А что такое Вася? – Этого мы еще не видали. Я даже не сделал ему обыкновенной училищно-гимназической оценки головы, я даже не указал на него инспекторским роковым перстом, не изрек над ним вперед судьбы его и даже не заклеил его казенным приговором: «этот вот мальчик, Вася, будет с головой; а тот вон мальчик, Ваня, будет без головы». А ведь, говоря серьезно, Вася мой в таком уже возрасте, где действуют не одни только инстинкты да плотские побуждения; в шестилетнем возрасте уже во многом проявляется и смысленность и ум ребенка, при всей его животной неразвитости. Что ж бы мне сделать, чтоб точнее определить: умен ли Вася и имеет ли он какие-нибудь познания в окружающем его?

А! вспомнил: следует проэкзаменовать его и непременно проэкзаменовать по уставу, да по уставу наших русских учебных заведений, то есть сперва из закона божия, ну, потом из словесности и математики, там из истории и географии, а потом уж и пошла писать: из языков да рисования, из музыки да танцевания, из пения да фехтования, из гимнастики да маршрутирования, а потом уж и из прочего в руках и ногах человеческого познания. Вот и дело с концом. Выведите только из всего этого средний бал с поведением, – голова из него так сама собой и выглянет.

Начнем же с главного. По закону божию Вася знал богородицу – молитву, да богородицу на дощечке, у мамы, на полке в чулане; знал он также, что недалеко есть церковь – троица, в которой живет бог, что троица эта повыше барского дома, а внутри ее гораздо понаряднее, нежели в господских хоробах: впереди все зеленое с золотцем, а по бокам стены так разукрашены, что уж и не разберешь, какой краской – больно хорошо. Вася знал также, что в церковь эту мама велит относить свечечку богу да копеечку нищему, в большой праздник. Из священной истории Вася узнал от Ионовны, что земля стоит на трех большущих китах, которые плавают на море-океане. Раз было кучер Ларионыч-кривой (который в домашнем быту Кривым-бельмесом назывался) начал при Васе повествование о том, «что фараонова воинства вся потонула, и из ефтога самого места вылезли песьи головы, единогоглазые замаряне, и что даже теперича в самой Европеи две веры заключается: значит, ледранская одна называется, да катаврическая еще другая, а потом после так вместе и сходятся, в одного, вишь ты, бога веруют». Ну да этого, слава богу, Вася ничего не понял, видел только, что вся присутствующая тут дворня, молча и с глубоким вниманием, слушала законоучителя своего Ларионыча. Вот и все его познания в законе божием. Из словесности Вася знал твердо одно: «Мама, я есть хочу». Из математики он вычислял уже, что один да один – два, два да два – четыре, а пять да пять – если подсказать – всегда выходило десять. Из географии Вася узнал, что есть город Сибирь, в котором он живет с тятей и мамой, на Дворянской улице, которая проходит через весь Сибирь и упирается прямо в Сибирку, куда Вася уже ездил с тятей за водой. Да знал он еще не совсем основательно, что от Германа под горой до Шагаровской будки такая страшная даль, как от Козьего болота в Петербурге до самой Козихи – в Москве; знал он также, что до них ни за что не доедешь, – доходил до них только один сильный тятя да и тот больно уставал. А до крайнего полюса Васиных географических познаний – до барыниной деревни Задерихвостихи, так такая заграничная даль – просто пятьдесят пять верст, да еще с половиной – говорит барин Василий Иваныч. По истории Вася знал одно только важное событие в мире: историю о знаменитом происхождении Азора и Шеверюшки. Из языков Вася знал один только язык, которым

часто говорил Матюшка-разбойник, а именно язык тарабарский, да и тот он знал плоховато, – ну, словом, по-гимназически – только понимал, а сам не говорил. Из рисования – он имел бойкую руку академическую, и, пожалуй, трехконный дом с крышей и трубой так отмалюет, что только разве уж строгому экзаменатору покажется, что дом покосился, а тятя с мамой всегда находили, что дом ничего – хороший, – даже и очень! Мало того, самую старую церковь ухитрился изобразить на двери амбара, или каретника, в виде новомодной, высоко-выведенной кулички немецкой, так что сам тятя, проходя мимо, остановился, чтоб разобраться, что это такое, и сказал: «Ай да хват; славно, брат!» Ну, словом, с головы и рук Вася был очень-таки бойкий мальчуган, даже по фехтовальному искусству, – он так однажды просадил глаз лучиной полунемцу Карлуше, что тот недели две ходил повязанный синим платком. И если был плоховат Вася в чем-нибудь, – так это с ног: никак не мог он выучиться танцевать по забору, усеянному гвоздями, или проплясать удалого камаринского в присядку по коньку на крыше, и такая всегда забирала его благодетельная робость, что, мне кажется, в этом искусстве он не подавал решительно никакой надежды, – разве впоследствии развились у него способности. Впрочем, тебе, читатель, известно, что некоторые дети и очень поздно развиваются. В музыке и пении часто испытывала Васю сама итальянская музыкантша и певица – Марья Александровна, и та оставалась им довольна, уж если услышит Вася какую-нибудь новую песенку, так он так ее переймет и споет, что Марья Александровна не только заставит его повторить и похвалит, а еще размечется от его пения – досыта нахохочется. Услышит ли Вася, как Филатка Шебарша сыграет на рожке барыню (а Филатка лихо пищал на рожке), Вася попросит рожок у Шебарши и тоже пропищит на нем, хоть не совсем настоящую барыню, однако ж и не кухарку же, так что сама мама, слушая его музыку, не вытерпит и прибавит: «Ай Вася, Вася! на все-то ты у меня горазд, сыночек; не знаю вот грамоте-то будешь ли ты у меня учиться когда-нибудь?» – А Вася повернется на одной ножке, запоет да и уйдет поскорее, как будто не слышит, что говорит ему мама о грамоте.

А слово «учиться» как острым ножом кольнет Васю в сердце. И грустно, и тяжело, и невесело во весь этот день резвому Васе: не бегаются ему и с Акулькой, превращенной в лошадь, не играетя ему в большом саду с другом и приятелем Оленькой Почечкиным, не поется ему даже беззаботно: «Туру, туру пастушок, калиновый подожок», – все хочется взгрустнуть да заплакать, а мысль, что насильно посадят за книгу, как безотвязная тень, следует за ним до заката солнца, до глубокой ночи, до безмятежного сна.

Он бы может быть и подумал: почему именно ему не хотелось учиться? – да думать было решительно некогда! С вечера устанешь и скоро заснешь; утром, чуть встал с постели – времени нет: то голубят накорми – пищат (они же такие хорошенькие и понимают все: на руку уже стали садиться, а Вася их любит за это); то там, смотришь, еще глупый галчонок выпал из гнезда – ну, ему заступи место матери; то там, пожалуй, мама еще зовет: «брата, говорит, покачай; мне некогда – иду на погреб»; то соседний забияка-петух подрался с маленьким карапузиком Оборвышем: ну, конечно, его нужно пугнуть хорошенько, чтоб он вперед не смел разбойничать на чужом дворе; то там, смотришь, и Оленька пришел: зовет в свой сад картофелю порыть: «Мамынька, – говорит, – велела звать, – яблоками хотела обоих накормить». Ну как не идти? А там, смотришь, Матюшка-разбойник моргает из-за угла да зовет рассмотреть какую-то новую секретную штуку. А тут вдруг и ветер подул – ну, змей непременно нужно пустить. А там, смотришь, травля чужого теленка, да кто-то проехал, да еще какой-то крик на улице, да мама опять зовет за чем-то: верно сладкого опять уж приготовила – хочет подсластить Васю. Ну, конечно все это нужно просмотреть, везде побывать, все разузнать. А время-то между тем нисколько не ждет. А там, смотришь, уж опять вечер; а там, не успеешь глянуть, и опять ночь. Беда да и только; – у детей день впятеро короче, нежели у больших людей.

Так бы, мне кажется, день за днем и капал в вечность, а Вася верно до глубокой старости не разрешил бы нового для него вопроса: нужно ли в самом деле ему учиться? и почему именно ему не хотелось?

Вдруг совсем случайно и неожиданно Васю сняли с заборов и посадили за книгу. Случай, кажется, вовсе ничтожный, а между тем он дает уж новое направление ребенку. Этот ничтожно-замечательный случай указывает нам ясно, что в моем любезном отечестве многое еще родится, растет и зреет безо всякой посторонней помощи. И хорошо еще, если на сильной почве само вызревает, а то часто, часто – о, как часто! – и самое благое и хорошее семя заглушается плевелами, и впоследствии очень мало, или даже и вовсе не приносит плода!

Отчего это все так идет у нас? Не в романе рассуждать об этом; расскажем лучше случай, который случился с моим маленьким Васей. Здесь кстати уже заметить, что Вася окончательно стал сыном отцовым; а поэтому и случаи последующие стали чаще совершаться между им и отцом, а не мамой, как это было до сего времени. Вот этот случай.

## Глава III

Однажды Вася что-то очень усердно работал мелом на дверях амбара.

– Полно марать тебе стены, пачколя, твоей пачкотней! – сказал отец, выдавая овес кучеру. – Вишь, как амбар-то опять у меня испестрил, как ситцем отделал. Ты, верно, брат, у меня рисовальщик будешь какой-нибудь, а? Не купить ли тебе, брат, карандашика с бумажкой, вместо пряников-то, а?

Но Вася на все эти аканья не сказал ни слова: фыркнул только носом, покосил губу вместо улыбки, да как будто подумал: «Оно хорошо бы, пожалуй, и карандашик с бумажкой, да ведь и пряники тоже славная штука – ох, как сладка!»

Отец между тем выдал овес, посвистал над Васиной работой, погладил его во голове и прибавил: «А знаешь, что, брат, мы с тобой сегодня сделаем? Пойдем-ка со мной: а покажу тебе такое место, откуда можно, пожалуй, нарисовать хоть все дома, какие есть в городе».

Вася при этом известии как будто окунулся в радость и вынырнул совершенно в какую-то новую жизнь. Радость его, как радость ребенка, была так велика, что он мог только с стесненным сердцем вывести тоненьким просьбленным голоском:

– Где же это? куда же мы поедem с тобой, тятенька? Сейчас, что ли, идти-то, тятенька?.. а? – А ноги между тем сами уже встали и, не спросясь головы, готовы были бежать. Вася с трепетом сердца ожидал тятина ответа.

– Ну нет; не сейчас оно, а после обеда, мой друг, – прибавил кротким тоном тятенька, щелкнул при этом нутряным замчищем амбарным и, поигрывая ключом, пошел к себе в избу.

– Да я ведь уж не хочу обедать-то, я ведь уж обедал давно, я еще давеча утром обедал! – пустил было вдогонку свои убеждения Вася.

– Ну, не хочешь, как хочешь, – жди, пока я отобедаю! – сказал жестко и утвердительно отец.

И Вася на это уж ни слова не возразил. Вася уже стал привыкать к этим твердым ответам, – он знал уже сам твердо, что тятя не мама – его уж не заставишь проплясать по своей дудочке. А поэтому и подумал только про себя: ай-й... какой! все жди да жди его; шутки ли это ждать, когда он пообедает, да еще ляжет, да отдохнет? Что это у больших все это как там делается? Все они этак: вон и барин с барыней ложатся спать днем, да еще и ставни велют затворить, чтоб не видать было, как они там спят; и тятенька также на лавочке подложит кулачок под голову да захрапит так, что не слышит, как и мухи кусаются у него на носу. Нет, я так не люблю спать днем. Что за сон днем? – мама говорит правду: бог велел нам спать ночью, – а днем лучше петь или рисовать.

– Туру, туру, пастушок, – запел Вася смело, хватил опять мелом по старому забору и вышло у него что-то как будто корова, или сам пастушок. – Калиновый подожок! – запел он еще смелее, черкнул снова и у него с одного маху вышел уже подожок. – От моря до моря, до Киева города... – уныло пропищал Вася полутонем ниже и не черкнул уже мелом смело по доске – тоскливо опустил он поднесенную руку и о чем-то не шутя задумался. Задумался мой ребенок о том, что в это мгновение хотелось ему изобразить и море, и Киев, а он еще не видывал ни того, ни другого, – и крепко задумался Вася.

А отец тут, как тут, и кричит уже ему с крыльца:

– Эй, маляр! пойдem, что ли?

А сам уж в сереньком мутном сюртучке с красной волжанкой под мышкой и в кожаном картузе.

А в руке держит сюртучок и картузик для своего маляра, которого, как видно, старик-то любил слаще обеда и отдыха.

Чуть лишь слышал Вася голос своего тятеньки, как птичка вспорхнул от радости и в три прыжка очутился на крыльце, мигом оделся, застегнулся, надел фуражку и даже успел заговорить весело:

– Пойдем-ка, тятенька; куда ты меня поведешь?

– А вот увидишь...

– Ну, ладно...

И Вася, любопытно посматривая в глаза тятеньке, с веселым лицом побежал вперед отца на улицу.

Вася знал уже заранее, что тятенька покажет ему что-нибудь такое, чего он никогда прежде не видывал. Тятенька всегда так и прежде дельвал; он, например, возьмет Васю за руку и поведет его далеко, далеко...

И приводил он Васю туда, где какие-то кожаные мешки все топорщатся, дуются как пузыри, да пыхтят все этак: фу-у, фу-у! а огонь синий да с искрами так и лезет из горнушки кверху, как шило вострое. А тятя покажет еще ему как черномазый мужик в кожаном фартуке и в рукавицах возьмет из огня клещами какой-то красненький хорошенький уголек, да и давай его молотком постукивать на толстом железном куске, так что только брызги летят во все стороны; а тятя покажет еще ему, как этот черномазый мужик сунет этот уголек в воду, в лоханку, а уголек там только этак – чик! и выходит из него железка. Да еще это ли видал там Вася; черномазый мужик подносил железку-то прямо к Васину носу и даже подробно показывал, что это настоящая железка, в руки только не велел брать: «Погоди, – говорил, – а то укусит». – Да и это ли одно. Вася даже видал там, как черномазый мужик из одной железки сковал веретено, а из другой железки, тоненькой, вырезал ножницами такого петуха, как живой, настоящий петух, – так что тятя его, вместо живого-то, проткнул веретеном железным да посадил на колодец, а он так там и вертелся всегда, и теперь еще вертится. – «Так вот как делают железки-то», – подумывал Вася, а тятя при этом еще и растолкует ему: что черномазый мужик в рукавицах кузнец называется, толстый кусок железа, похожий на птичью голову с носом – наковальня, а чурбан, на котором птичья голова-то посажена – стулом называется; а то, что он тут делает, кузнец-то – «Это, говорит, дурачок, он железо кует». И Вася вздохнет да и поймет, что говорит ему тятя.

В другой раз тятя отводил Васю туда, где другой черномазый кузнец все колотит по самовару, потом нальет в него светленькой серебряной водицы, наденет хлопчечок на палочку да и давай водицу-то размазывать по всему самовару; водица пристаёт к краешкам, а самовар делается белый да светлый внутри. «Так вот как самоварчики-то делаются», – думает Вася; а тятенька начинает ему толковать, что этот черномазый кузнец – медник называется, а то, что он там размазывает в самоварце-то: «Это, – говорит, – он медь лудит, сынок». Вася даже видел, как тятя отсылал к этому меднику целый воз кастрюль с поваренком Тишкой; а кастрюли-то все клал одна в другую, – при чем Вася подметил также, что большая барская кастрюля так велика, что в ней быка можно сварить, а маленькая так мала, что ее можно надевать Ване на голову, вместо картуза. Тут-же Вася узнал от тяти подробно, что длинная кастрюля, похожая на гроб человеческий, сделана для того, чтобы варить в ней рыбу целиком: видишь, будто по французскому поварскому уставу, русский осетр целиком гораздо деликатнее и важнее, за званым господским столом. И на эту длинную, похожую на гроб человеческий, кастрюлю Вася подивился-таки не мало.

В третий раз тятя отводил Васю туда, где делают ружья для больших людей и для маленьких. И вот видит там Вася такие же маленькие ружьецы, как и его деревянное, да только те не деревянные, а заправские ружьецы – настоящие, как у барчонка Илиньки, – тятя называл их пистолетами. Впрочем, как видно, делание пистолетов Васе не понравилось: раз, потому, что устройство было слишком мудрено – перенять не переймешь, – и дома себе такие-же сделать не ухитришься; второе и потому, что в доме этом больно уж страшно: все ширчало, стучало, визжало, да шипело. А я так думаю, что тут была еще и третья причина, да и не главная-ли:

нам уже известно, что Вася побаивался ружейного выстрела, а здесь он видел, что мастер беспрестанно примеривал ружье к своему носу и так прикладывался к нему и щурил глаза, как будто хотел подстрелить Васю, как утку. Вася сперва было как вежливый человек сторонился от выстрела и направо, и налево, да видя, что тот не унимается, а все в него прицеливается, тотчас сообщил отцу свое замечание такого рода, что здесь больно скверно южит железо, когда его трут железной палочкой, и что он этого не любит, и писку такого слышать не хочет. «Пойдем домой». На что тятя тотчас соглашался и даже переводил Васю и в другие замечательные, по его мнению, места.

Так однажды отвел он Васю в ту избушку, где из воску делались свечки, да такие тоненькие, какие стоят у бога в церкви. Ну, свечечки конечно делались тихо – не южали; там даже не прицеливались так злодейски в Васю, – что Васе очень понравилось, до того понравилось, что, пришедши домой, он тотчас решил, что свечи вещь очень немудреная – их можно дома и самому накатать, – стоит только достать у мамы воску. За последним дело тоже не стало: Вася для пробы тотчас стянул у мамы свечу, приготовленную за престол Божией Матери, и из вся мигом накатал по-своему свечей маленьких, своей собственной фабрикации. Подумал было он и зажечь их, чтобы попробовать, будут ли гореть, – да как вспомнил при этом, как однажды досталось ему за трут, которого он не умел потушить, запрятать горящее ключье в бочонок, из которого такой повалил дым, что и сама мама заплясала было от страха, – он тотчас отложил намерение притвориться старостой церковным.

Тятя однажды отвез было Васю и на чугунный завод, даже показывал ему так страшную кадушку, которую называл Домной Ивановной; хотел было растолковать, что в этой Домне Ивановне сущий ад, да Вася ничего не понял, потому что не знал еще, что это за штука сущий ад; самый же завод больно ему не понравился, потому что был темен, черен и страшен. Больше всего любил Вася смотреть, как на веревочном заводе вертятся маленькие колесики: так хорошо вертятся, как настоящие игрушки. Он даже, возвратившись оттуда домой, всегда весело рассказывал маме, что там, – где они были с тятей, – есть такие колесики, как у нее скальница, и так на них сучится ниточка, как у нее на веретене; так даже из ниточек-то выходит после такая толстая веревочка, просто толщиной с Васину ногу.

Иногда отводил тятя Васю туда, где ветреная мельница шумно махала большими своими руками, да ворочала какое-то бревно, а в ней все дрожало, тряслось, да все так страшно ворочало: «Жур-р», до того страшно, что Вася в первый раз не хотел было и идти туда, да уж сам тятя взял его плечо, подвел к жернову да показал, как там серыми кольцами бегают жернов-камень, и растолковал, что стбит только плюнуть на этот камень, тотчас отскочит назад да плюнет в тебя же. И Вася, как ни боялся, однако не вытерпел, сделал опыт и ему показалось очень смешно, как камень плюется на человека. Осмотревшись на мельнице, Вася заметил там белого мужика, который весь был размазан мукой, а как занял Васю, что тот, пристально на него посматривавши, спросил даже отца: «Тятя, зачем это у него рожа-то такая размазанная? нос-то точно с белой заплаткой!» – на что тятя отвечал поучительно: – «так это, сынок, мельник он, сморкнул верно он неосторожно, да нос и прихватило мучкой, вот кончик-то беленьким и смотрит». Насмотревшись на мельника с беленьким кончиком, Вася сделал на мельнице еще новое открытие: он подметил там наверху какую-то палочку, которая все подплясывает, да как будто выговаривает: «Клок, клок!» и увидел он, что из-под этой палочки сорятся на камень зернышки; даже заглядывал было и в камень, чтоб узнать хорошенько, как эти зернышки в муку там превращаются, да нет – не видать: под камнем все это делается. А тятя еще рассказал ему дорогой, как родятся зернышки на поле, как сушат их в деревне над огоньком, в овине, – в котором еще, по рассказам Ионовны, черти водятся, – как мужички деревянными плеточками секут эти зернышки на току, как мельница мелет их, а они делаются мучкой, как наконец возьмут мучки, да водицы наболтают – выйдет лепешечка; лепешечку поджарят на огоньке и отдадут сесть Васе. А в субботу вон мама из мучки гречневой с водицей таки-еще и блинков

напечет, а тятя говорит: «Родителей поминать». Вот и все тут. Но чудо как хорошо это все рассказывает тятя.

Да и не только рассказывает, а еще возит он Васю с собой, куда захочет, и показывает ему все новое. Раз тятя свозил Васю в подгорную сибирскую деревню, Паранькину, ну и показал там сперва мальчишек, да таких удивительных мальчишек, что Вася разъехался, увидавши на них сапоги не простые, а с пятью пальцами. Да уж после, как подошел да рассмотрел Вася, оказалось, что это были не сапоги, а просто собственная их шкура, ими же – без завода и выдубленная на манер конины. Тятя показал Васе также, в каких черных хлевушках живут паранькинские мужички, – даже и огонь-то у них не в трубу ходит: так по избе-то с дымом и ползает по потолку, так что Вася совсем и глазами то смотреть не мог, даже горько сделалось ему там, чуть было не задохнулся, – так у них скверно в избе. Да уж тятя ему растолковал: «Это ничего, – говорит, – сынок, что дымок в глаза к тебе залезает – у них это всегда так бывает: они уж к этому привыкли, им это ни почем, как ерофеич с калачом». Тятя также растолковал Васе, что косматые бабы-замарашки – это жены и дочери этих деревенских мужичков; они также, согнувшись на поле, кривыми ножами режут золотую травку, да из травки этой вяжут метелочки, а из метелочек выходят опять такой же хлебец, какой ест Вася. – «Это, – говорит, – сынок, они хлебец жнут: направо-то, говорит, вон белый хлебец пшеничный, налево-то – вон тут под оврагом – черный оржаной; беленький-то они на базаре продадут, а черненький себе возьмут да съедят; вот и то только!»

Чудо как хорошо все это растолковывал Васе тятя! Тятя даже подружился с приказчиком Паранькиной деревни, и тятя не только приглашал их без господ к себе в гости, а даже часто просил беседовать и в барский дом, в гостиную, где уж тятя прямо, указывая кверху, говорил маленькому Васе: «А вон, брат, где повешен сам паранькинский барин, – поди-ка, порассмотри его». И Вася отправлялся рассмотреть старый оплеванный мухами портрет паранькинского барина-покойника.

Чудо как все это хорошо указывал и растолковывал Васе тятя! А тут еще купит глиняного соловья, да сам же и поиграет на нем, чтоб выучить сынка насвистывать по-соловьиному; купит калиновую дудку, да научит сынка размачивать ее в колоде, чтоб дудка не сохла. «На мокренькой-то, – говорит, – зычнее играется, сынок!» А тут, смотришь, весна пришла. Тятя с Васей сходят на приставь, да принесут оттуда апельсин душистый: и маме дадут полакомиться, да и Васе выдерут шутя ушко. – «Это, говорят, брат, новинка, так ушко тебе следует подрать за это». А тут рака черного покажет тятя да удивит Васю тем, что рак ходит задом; а там, пожалуй, еще сварит его да покажет, как рак превратился в красного; а там еще евши вынет из него белые жерновки, да отдаст Васе поиграть. И все покажет и растолкует ему милый тятенька!

За то уж как и подружился с тятей Вася. Он так подружился с тятей, что для него забыл все, что составляло прежде его жизнь: забыл он и Жужутку, с которой весело игралось ему на мягком ковре, забыл он и Марью Александровну и ее маленькую аристократическую ручку, которая гладила его шелковую головку и шейку, забыл он и то, как она сама наливала ему кофей, забыл он ее красные привлекательные конфеты, разучился он даже ходить поздравлять господ с праздником и отвык шаркать перед ними ножкой. Да чего: сама мама теперь уже не так была лакома для Васи, потому что мама все только кормила да бранила, а тятя все растолковывал. И все хотелось Васе идти к тятю, да все хотелось у него обо всем подробно допросить да распознать.

Так возникла дружба между отцом и сыном, – и это была не та мимолетная дружба, которая основывается на свайке, кознах, взаимной потасовке и сладком примирении после розги, не та идеальная дружба, которая разрывается с разлукой и потом забывается с переменю обстоятельств и образа жизни. Нет, это была дружба прочная, которую чувствует во всю жизнь ученик к своему учителю, чувствует даже учитель к своему хорошему ученику; это была та вечная дружба, которой связаны все разумные существа во вселенной, – дружба свя-

тая которой семя было в сердце и голове ребенка; и это семя было живо, это семя уже росло! И вот росла между ними любовь; любовь на основании не той только общей мысли, что отец должен любить сына за то, что тот кусок его собственной плоти; сын должен любить отца за то, что тот виновник его жизни; вот, между ними росла любовь не плоти, не одних естественных законов и обязанностей, предписанных природой, – нет, между ними росла любовь более глубокая, сокрытая в сродстве их умов, в одинаковости их понятий, в общей связи их мечтания и предчувствий, в согласии их родного чувства и родственных биений сердечных... и к ней уже прибавьте горячую любовь отца в сыну, влекущую любовь сына к отцу. Так любил Павел Кузьмич сынка своего Васю, так любил сын Вася своего отца и наставника.

Но что такое был этот наставник? Дал ли этот темный Павел сыну своему ту вторую жизнь нравственную, которая так важна перед первой, как душа перед телом, как жизнь мира перед жизнью личности? Об этом нечего и спрашивать; конечно – нет!

Достаточно сказать, что безграмотный Павел был так темен, как только может быть омрачен безграмотный русский человек; поэтому и учение такого наставника ограничилось конечно лишь преподаванием тех правил, которые сам Павел получил от отца своего, как завет и как что-то священное и неприкосновенное; к этому он присоединил еще опыты своей собственной жизни и свое крайнее разумение добра и зла. Вот и только.

Переманивши на свою сторону от матери слабого Васю, отец скоро внушил ему бодрость и терпение тем, что решительно перестал с ним нежничать по-бабы. «Дрянь ты», говорил он ему обыкновенно: «И братя тебя никуда с собой не буду, когда будешь этак губу распускать да бабиться; так и сиди там дома с бабами, не мой и сын!» Этого уже было достаточно, чтобы Вася опять насторожился и сделался ко всему терпеливым. После этого Вася уже не решался отцу жаловаться на жар или холод, а переносил то и другое так же терпеливо, как переносил это сам крепостной Павел Кузьмич, по нужде и без нужды. Находясь в вечной суете, Павел как будто мало обращал внимания на игры Васи и даже вовсе не останавливался его шалостей, но в то же время конечно не был для него и чужим человеком. Он при случае принимал живое участие в его детских играх и интересах, сам даже помогал ему, где останавливалось Васино ребячье дело, а в минуту свободы готов был даже поиграть с ним в козны, или даже запустить змея. Но в то же время, через полчаса, где-нибудь нечаянно из окна, или из-за угла, покрикивал на Васю и грозился, когда тот намеревался устроить какую-нибудь большую проказу. Он даже чисто бранивал Васю жесткими словами на месте преступления, и всегда обещался высечь его, когда он сделает это еще и в другой раз. Первая забота Павла была – сделать сына вежливым и, конечно, в особенности против господ; он даже учил Васю еще издали снимать шапочку перед господскими окнами, даже и у чужих знакомых домов, что всегда и сам выполнял с особенною заботливостью. Он даже иногда говорил сыну: «Ты, брат, ведь что еще? червячок капустный – больше ничего, – раздавят тебя, как гадину, вот и дело с концом; а вежливым будешь, так тебе же лучше», добавлял он в заключение. С другой стороны, он всегда, так же, как и мама, осматривал Васю, чтоб он с немывтыми руками или с нечесаной головой не приходил к столу господскому; это не затем, конечно, чтоб Павел Кузьмич в особенности любил чистоту и опрятность, а потому, что Вася, как сын дворецкого, и еще старший сын, должен же был отличаться от прочих мальчиков дворовых хоть вытертым, чистым носом. Кроме того, Павел знал уже вперед, что если господам вздумается дать подачку, так скорее всего для этого выкричат из буфета уж конечно Васю. Вон почему Павел Кузьмич и следил за Васиным носом так же наконец зорко, как и за нравственностью. Прибавил было Павел подучать сынка своего лакейскому искусству, да оказывалось слишком рано. Раз отец послал было Васю к маме на погреб с тарелкой за огурцом, и Вася с охотою согласился, даже бойко слетал, да на парадном крыльце и вышла какая-то запятая. Черт знает как, Вася верно запутался, что ли, за ноги свои и вышло, что тарелка-то полетела по скользкому полу, а огурец, подлец, пробежал по всем ступеням парадной лестницы и так напугал ребенка, что Вася со слезами и мокрыми руками при-

шел к тятю отжаловаться на огурец, и уверял еще тятю, что если б огурец не покатылся, то он уж конечно не разбил бы тарелки. С тех пор так уж и перестали пользоваться Васиной послугою. В нравственном мире Павел Кузьмич слегка запрещал сыну и лгать, и таскать чужое без спросу; даже при случае крепко его побранивал, когда Вася, соблазнившись, отщипывал клочочек от барского жаркого или пирожного и делал его без заметного хвоста. Много ли имели влияния на Васю эти нравственные уроки, когда вся прочая дворня, не моргая глазом, врала напрапалу пред господами и тащила от них что только было можно, чуть ли не на половину? Там даже случались курьезные оказии такого рода. Старший поваренок Моська, скормивши барские свиные почки своей семиюродной сестрице, нахально приходил к старой, выживающей из ума барыне, и смело допрашивал барыню сам: «Какие вы, сударыня, спрашиваете от меня еще жареные почки? Я вам уже третьего дня докладывал, что свинья была черная! Какие же у нее почки?» И озадаченная барыня только спрашивала поваренка Моську: «Да как же, Мосей, разве у черной свиньи совсем не бывает почек?» – «Да разрази меня на сем месте, лопни моя утробушка, если я съел ваши барские почки. Да что же это такое? Это каторжная какая-то жизнь после этого!» – И старший поваренок Моська, как чистейшая невинность, начинал рыдать, а старая, выживающая из ума барыня, испугавшись сильного бычачьего мычания, говорила Моське тихо: «Ну, ну, ступай, ступай, Господь с тобой, ничего больше не нужно, ступай только Христа-ради!» Конечно, иногда этот жизненный факт так занимал старую барыню, что ей не спалось целую ночь, и она – желая проверить, правду ли говорил Моська – призывала к себе на другой день дворецкого Павла и допрашивала его: «Бывают ли в самом деле у черных барских свиней почки?» Но дворецкий Павел во всех таких случаях держался середины и как-то особенно умел помирить обе враждующие стороны. Он отвечал, как Талейран: «Да оно, сударыня, когда уж свинья может быть без почек? что уж говорить не дело-то? да вышло-то верно у него так: это ведь он, сударыня, правду говорил, что у черной-то свиньи почечки как-то бывают помельче; а как он их зажарил неосторожно, да подсушил – вот они, поди, чай, и вышли на беду с орех величиной; он побоялся их вам подать-то, да сам и съел». – «Ну, то-то же; а я уж думала, что в самом деле свинья без почек, да опять и думаю: как же это?..» – «Да вот так верно, сударыня, и случилось». – «Ну, то-то случилось, – пусть уж случилось, да зачем же он, глупый, не сказал мне правду-то?» – «Да правду-то, сударыня, побоялся вишь сказать: гневаться изволите; ну, он, чтоб отойти от греха-то, да не прогневать вас, вот и... соврал немножечко»... «Ну, то-то же, – а я уж думала, как же это свинья без почек?.. да опять и думаю, как же ведь это?.. Он плакал! Значит, правду говорит человек».

Повторяю: много ли имели влияния на Васю нравственные уроки Павла, там, где господа изволят гневаться на правду, – это вы увидите сами впоследствии. А здесь я должен повторить-таки опять, что весь этот омут житейский – барская дворня – для Васи был еще совершенно темен; а уроки, которые давал ему тятя, как близкий человек, конечно так были ясны и понятны, как дважды-два-четыре. А если и случалось, что Вася, как ребенок, и эти ясные уроки не хотел понимать и забывал, или просто думал; нельзя ли этак пустить в ход и свои правила? – так Павел тотчас и очень жестоко доказывал сыну свое: что у него, старого дворецкого Павла, пустить в ход правил своих нельзя и думать! Это Вася очень скоро почувствовал; словом, чем дальше, тем влияние Павла на Васю становилось больше и больше. Конечно, опять-таки я должен завести здесь речь о том, что в нравственном мире влияние Павла было не более того, что он запрещал Васе кричать, когда он играет с барчатами, – запрещал шибко бегать, когда Вася возил их на тележке (особенно маленькую Лили), и наконец учил его как можно мягче и вежливее с ними обращаться, – «а то, говорит, тебя будут гонять оттуда по шее». И, словом, по мнению дворецкого Павла: Вася скорее мог обращаться по-собачьи с Ванькой, братом кровным, нежели грубо или невежливо с барскими детьми. Относительно прочих личностей было то же. Если бы приходил паранькинский приказчик, то перед ним приказывалось быть вежливым, потому что он приказчик; а если бы приходил маститый старец-нищий, или паранькин-

ский крестьянин, старик почтенный, то перед ними, конечно дозволялось быть и невежливым, и грубым, потому что это были мужики, а не барины и не приказчики. Словом, при всей строгости правил, почтенный Павел Кузьмич никак не мог отрешиться от важного для него в мире слова «барин». Он даже прочим молокососам из дворни поговаривал часто: «оно так что ни говоря, какой ни на есть, да все-таки барин; все-таки он сидит за столом да кушает, а мы с тобой только стоим за столом да поглядываем на него, – вот оно что! так, значит, и говорить об них нечего; а просто делай только, что прикажут, да и дело с концом; их дело барское, а наше лакейское». Вот на каком основании Павлу хотелось утвердить также и сына своего. – «Наше дело служить», говорил он с наслаждением истинного слуги, и говорил это даже пятилетнему и ничего еще непонимающему Васе. И Вася видел ясно, что отец его неутомимо и безропотно служил, и день и ночь, и ночь и день, и в будни и в праздник! А из этого и выходило, что, при всей неутомимой заботливости Павла о сыне, многое, очень многое из нравственной жизни Васи или вовсе ускользало без внимания, или проходило едва заметным, или выказывалось наконец и очень приметно, да все откладывалось, – как обыкновенно у всех у нас, заботливых родителей, занятых суетою житейской, – до следующего дня. А время между тем все шло.

А если что и было важно для Васи, так это разве то, что серьезный Павел Кузьмич был наставлен отцом своим тоже довольно серьезно. И если, например, Вася, после рассказов Ионовны, сильно начинал потрушивать мертвецов или привидений, так он просто говорил сыну: «это, брат, пустяки – бабы бредни, ты их меньше слушай; трусить этого нечего: стоит только сотворить вон воскресную молитву, так все эти привидения так прыснут, как черт от ладану – это уж дело известное. А чтобы не приходили они, так нужно всегда, когда ложишься на ночь, помолиться богу – вот и не будет ничего». И после этого, если Павел замечал, например, что Вася ложился вечером не молясь, то он настоятельно требовал, чтоб сын помолился, и даже поднимал его с кровати, уверяя, что без молитвы уснуть спокойно нельзя. Так он часто выводил его из-за стола за то только, что тот, не перекрестясь перед образом, садился. Словом, во всех случаях жизни, Павел, в самой простой оболочке самого не затейливого детского слова, хотел дать сыну понятие о том, что есть бог, которому должно молиться. Но у Павла решительно не доставало умения объяснить, что такое этот бог, которому нужно молиться? Точно так же, как заставляли его самого молиться, теперь он заставляет своего сына; и точно так же, как мама, указывая в передний угол на божницу, заставляла Васю усердно класть земные поклоны за тятю с мамой, точно так же теперь заставляет его отсчитывать их тятя. Вот и все понимание обязанности человека: как должно чтить бога. И если в чем-либо отчасти проявлялось для Васи, величие божие, так это в грозных явлениях природы. Вася с трепетанием сердца и страхом переживал те торжественные минуты, когда испуганные тятя, мама и вся дворня готовились ко встрече грозы. Первый трусливый тятя толковал Васе, что в громе пророка Илии, едущего по небу на колеснице, слышно, как гремит сам Господь, и при этом он заботливо крестил все окна, и при каждом сверкании молнии набожно выговаривал: «Свят, свят, свят Господь Саваоф!» и в то же время заставлял он непременно креститься Васю, уверяя, что того непременно убьет бог, кто не хочет молиться ему в такое страшное время, как божья гроза. И Вася, конечно еще более тяти трусивший грозного бога, гремящего и сверкающего в небесах, с любопытством поднимал туда прекрасные свои глаза и, крестясь, с изумлением посматривал – то на торопливого тятю, с молитвой закрывающего и трубы и окна, то на бледную маму, стоящую иногда в уголке на коленях пред Богородицею. И конечно, хотя бестолково и бессознательно, но глубоко западали в душу ребенка эти торжественно-великие минуты. Маленький и глупый Вася, хотя и непонятно, но как будто уже ясно, со страхом и биением сердечным, чувствовал, что верно на самом деле есть гремящий, грозный бог.

В другие, спокойные и счастливые минуты жизни, после – например – обильного рыбного лова, после удачной и счастливой охоты, или в минуту семейного покоя, когда Павел может быть считал себя даже счастливым, – ему, как любящему отцу, и хотелось может быть выразить

маленькому Васе, что есть и другой бог, не только все грозный и карающий, но бог милующий человека, бог посылающий человеку и счастье, и свои великие милости. Но, читатель – Павел и в эти прекрасные минуты ничего не мог выразить даже и своему возлюбленному ребенку, сыну, решительно ничего! Может быть и очень хотелось бы, да...

Говоря правду, маленький Вася мало понимал отца, особенно если отец этот хотел высказать ему то, что было выше его простых и темных пониманий. К этому еще нужно добавить, что простая и грубая речь Павла Кузьмича была-таки больно, больно неказиста. Если приносила речь отца пользу сыну, так разве только тем, что сын сердцем веровал в эту речь и сыновнею любовью глубоко проникал в смысл ее. Речь Павла Кузьмича не была развита пустозвонной болтовней, как наше говорливое время; о речи такой не мешало бы здесь подвернуть нашу общую русскую, родную похвалу: «так, говорит, скажет, как обухом тебя дернет во лбу», – за то уж она прямо и отпечатывалась в сердце ребенка, и самые летучие истины так плотно пришлепывались в голову Васи, что навсегда там и оставались; – отцу очень редко приходилось говорить с укором: «тебе, брат, как к стене горох лепи». Словом, в речи этой был виден отец, который одной сжатой истиной поучал сына, виден был даже сын, который со страхов слушал наставника-отца, и опять-таки повторяю: если мало понимал, то безусловно верил ей, как самому тятю – вперед уже зная, что не верить этому нельзя, потому что жесткий отец заставит всему этому верить. А из всего этого выходило почти всегда вот что. Если скажет тятя: «Вася, не кидай на пол хлебец, – бог убьет», Вася в детской горсточке доедал крошки божьего хлебца, а упавшие подбирал на стол или прямо в рот, как из угождения к тятеньке, так и из боязни, что за это в самом деле убьет бог.

Вот почему Вася был так привязан к тятю, так бежал к тятю: тятя был для него само развитие его познаний, свет сего мира.

Вася часто, например, слышал и от Ионовны, что «на море, на окияне, на острове на Буяне стоит бык печеный». Но это ведь были только сказки – бредни. Слышал он часто и от мамы, что она седьмой год все собирается в Киев – помолиться богу. Положим, это была и сказка, но Вася все-таки и до сих пор не видал ни моря, ни Киева, ни даже деревни, полной оборотней и мертвецов. А между тем когда Ионовна по обыкновению начинала так: «у нас, говорят, на старике, в Белозерье, было вот какое чудышко», – то сердце ребенка Васи сжималось такой тоской и таким любопытным и заманчивым страхом, что ему сейчас бы хотелось слетать за старину, чтобы самому в подробности рассмотреть чудышко, о котором с такими вздохами и так страшно рассказывала Ионовна. А он все-таки ни чудышка, ни старины не видал, и все это представлялось ему в одних только неясных чудовищных образах сказки, поддразнивая и привлекая к себе его детское любопытство.

А вот он теперь только спел, стоя у забора, свою любимую песенку, и ему захотелось изобразить с пастушком и море, и Киев; и он не видал ни того, ни другого. И вот его детская мечта хотела бы лететь к морю да к Киеву – но куда лететь? Он сам не знал! Его детский взор хотел бы видеть что-то... но что? Он сам не постигал! Бедный был ребенок Вася: весь круг его познаний сосредоточивался на одном дворе и обнесенном со всех четырех стран света высокими заборами с гвоздями. Правда, знал он, что за этим забором живет Матюшка, затем Ванька-рыжий; знал, что через эти заборы можно перемахнуть к ним в гости, поучиться от них разным гадостям, и только. Только ведь и знал этот бедный уличный мальчишка Вася. А между тем душа его, как душа человека, жаждала познаний и вечной истины; между тем его детская игривая мечта, раскаленная волшебством сказок, колдунов, оборотней, ведьм, привидений, как рьяный конь неслась куда-то... Но куда неслась? Над этою мыслию Вася часто-часто задумывался у амбара. И без песни, и от песней ему делалось грустно и тоскливо... и тогда его детское курлыканье и бессмыслица имели такой же тайный смысл, как те глубоко-знаменательные, сжато тоскливые отголоски песни русской, в которой поет и плачется на судьбу свою русский человек...

Читатель, ты уже понимаешь, чего хотел любознательный мой мальчик Вася; ты очень хорошо понимаешь, что ребенок был жив, а около него все страшно несло той ужасающей мертвечиной, тем гнилым застоём сжатого крепостного русского ума, который еще не просветлен ни науками, ни знанием жизни, ни даже истиной духовной!

Мне и самому представлялось, что тятенька, как отец, и сам что-то чуял; но как отец темный, решительно не понимал, чего хотелось его сыну. Он делал все для сына, что находил нужным по своей близорукости. Он с охотой готов был отдать последние свои десять копеек за знаменитые картины: «Как мыши кота погребают» и «Как генерал-мороз ухватился за большой нос», и отдал он эти последние десять копеек за то только, что эти знаменитые произведения слишком понравились Васе. Павел Кузьмич, даже с некоторым увлечением, упросил лавочника оказать ему с Васей великую милость – прочитать надписи на картинках, над которыми и сам хохоча приговаривал: «Слышишь, брат, слышь, как тут прописано?» – да и Васю подзуживал, чтобы тот ухмыльнулся. Павел даже торжественно подарил эти картины сыну своему и, растолковывая ему, как они придут домой и разукрасят ими стену, еще добавил: «Вот бог даст выучишься читать со временем, так и прочитаешь мне подпись, как лавочник». Павел даже часто останавливался перед какой-нибудь новой вывеской и со вздохом говорил своему сыну: «Эх, брат, Вася, как бы ты читать-то умел теперича у меня – вот бы мы с тобой и разузнали, что тут прописано, – ишь какая нарядная!» По всему этому видно, что темный Павел как будто и сам от сына своего чего-то добивался. А чего? Он и сам не знал чего.

Так он, например, в настоящий поход действительно купил сыну и карандаш и бумаги, действительно отвел его даже туда, откуда мальчик его мог нарисовать и весь город и все окрестности, – словом, Павел Кузьмич казал своему сыну весь полный мир своих детских понятий, весь тесный кругозор людей дворовых, таких же темных и близоруких, каким был он сам. Но, боже мой! ты, образованный читатель, очень хорошо понимаешь и видишь, что тятенька в своем темном невежестве ничего не мог показать светлого и ясного сыну! Водил он Васю, чтоб показать ему механизм мельницы, водил он Васю, чтоб показать, как куют железо, как делают наконец свечи. Тятя был твердо убежден в том, что чем больше Вася увидит, тем больше узнает. Но... этими ли путями можно просветить ум человека? этого ли хотелось Васе? тверда ли была эта стопа, чтоб идти к свету, к солнцу науки? – этих вопросов тятя решительно не понимал, решительно даже и не подозревал, что они существуют... О бедный Павел Кузьмич!..

Одна только божественная идея, вложенная самим Господом в темную голову невежды Павла Кузьмича, время от времени шевелилась в уме его, – эта идея заключалась в том, что Павел Кузьмич иногда подумывал: «Поучу и я никак моего Василия грамоте, не будет ли в этом проку?» Да и эта идея тотчас исчезала в сомнении пользы от грамоты, и даже временем страшила старика, когда он раздумывался о том, что сын его может угодить и в солдаты, как большая часть из тех, которые чересчур переучились грамоте, а родом были тоже из его лакейской братии.

В минуты сомнения старик обращался было за советом к своей подруге жизни, к своей темной Марфуше; а Марфуша, только желавшая лучшего своему любимцу Васе, но в тоже время совершенно не постигавшая, в чем это лучшее для человека, – тупо устремляя в пол или стену взор материнский, полный думы, но не видевший там ответа – советница Марфуша вяло и безжизненно отвечала на это Павлу Кузьмичу: «А бог знает, как выйдет это дело; будет ли прок в том? Иногда и ученый человек, кажись, да черт ли в нем! Делай ты, как сам знаешь, тебе это виднее». А между тем ей, как чадолюбивой мамыньке, представлялось тотчас, что ребенка будут мучить наукой, день-деньской тиранить за книгой, – она уже и теперь в мечтаниях видела только слезы Васи, которых она никак не могла видеть равнодушно, да еще подзатылины и постегивания плетью, без которых русская грамота и существовать не может. И вот она таким грустным хвостиком заканчивает свою разбитую противоположными думами

речь: «По-моему, кажись, так и рано еще сажать его за науку; пусть уж десяточек-то дотянет; там, пожалуй, можно и попробовать проучить чему-нибудь; а-то теперь что еще за учење? – он ведь младенец». И при этом обыкновенно мамынька вздыхала, тятя раздумывал, и у него выходило ни то, ни се. А между тем быстро мчалось время – и все вперед, вперед да вперед.

А между тем мы сейчас видели, как сам Вася кидался к тятю, видели, как восторженно-весело шел он туда, куда вел его тятя. Сам Вася вперед уже предчувствовал сердцем, что тятя покажет ему то, что давно хотелось ему видеть, что тятя расскажет ему то, что давно хотелось ему слышать, что тятя наконец укажет ему и на то, к чему он давно уже, но еще так темно, смутно и неопределенно стремился.

Мы сейчас видели, как вечно-живой Вася и вечно-задумчивый тятя шли вместе по улице, и к удовольствию Васи, что тятя взял его с собою, была еще такая нарядная, весело-смеющаяся праздничная природа. А именно – была половина мая, полдень, все улыбалось. Как пошел Вася с тятей мимо Оленькина сада, увидел он что-то такое, чего он никогда прежде не видывал: увидел он, как ярко-зелено цветет акация, как веселый ветерок играет с листочками, а веточки обнимаются и шепчутся, будто радуются теплему утру. Все птички словно смеются; говорят, хвалят весну и красное солнышко. Кресты божьих храмов, как звезды, блещут в голубом небе. А небо – эта пучина радости и восторга – беспредельное, широкое, привольное и свободное, дышит прохладой и зноем, жизнью и любовью. Мотылек тонет в его эфире, резвая ласточка носится в его струях, а там чуть видный крошка-жаворонок вспорхнул и исчез в его синеющей лазури. Там поет он свою чудную песенку, оттуда слышится и льется она, чарующая вас волшебным звуком, и, жадно слушая ее и не наслушавшись, туда бы улетел и растаял в голубом сиянии, как черная точка-жаворонок. Туда хотела бы унести душа ребенка Васи, такая же свободная, как небо, и такая же чистая и светлая, как само солнце. Туда хотелось унести ей, где не было ни тучки, ни облачка, ни пятнышка, где только солнце, как царь жизни и света, стоит по середине неба, любит праздничной природой, а вокруг него все живет, все блещет, все смеется! Туда просилась душа ребенка, в эту вечную свободу, отрешенную от всего земного и житейского, и Васе в эту минуту хотелось плакать, хотелось даже молиться! И, как ребенку, все-таки было крайне весело.

– Эх, куда мы пойдем, – вскричал весело маленькой Вася. – Высоко больно!

Он взглянул на леса нового собора, смело пробежал первую лестницу; но взглянув вниз, оробел, как ребенок, и остановился.

– Я боюсь, тятя; голова качается; ноги этак устанут, – пожалуй, упадешь еще...

– Экая, брат, ты дрянь – ноги устанут! да об этом и думать-то нечего: ты мальчик, а не девчонка, – тебе молодцом следует быть... иди, иди, нечего тут...

И тятя, за руку приподнимая кверху, тащил Васю, как окорок ветчины, а внизу болтались ноги и тоже представляли, будто идут вверх. По временам слышно было: «Ну-ну-ну! этакой ты, брат, лентяй!» По временам только слышалось, как запыхавшийся и совершенно растрепанный ходьбой Вася силился вскрикнуть: «Ух, как делается высоко!»

Наконец сам Павел, желавший, чтоб никогда и ни в чем не уставал сын его, сам Павел Кузьмич почувствовал, что Вася его действительно устал. Он велел сыну зажмурить глаза, чтоб не кружилась голова, взвалил его на плечо, и хотя почувствовал, что Вася был весом с порядочного барана, упорно понес его вверх. Отцовское желание показать сыну-любимцу то, что крайне нравилось и самому Павлу Кузьмичу, это желание придало ему такие силы, что он борзо вознес Васю под самый купол и наконец остановившись, чтоб перевести дух, с новой силою понес его еще выше, выше и выше... Лежавший недвижно на плече Вася, как было приказано, жмурил глаза и закрывал их еще сверху ладонью от страха. Наконец старик торжественно поставил Васю на самом верху здания и сказал: «ну, вот смотри теперь; видишь, брат, как здесь славно!»

Вася испугался от восторга: он стоял на вершине купола и как будто один над всем миром. Внизу, как мухи, шевелился черный народ, а лошади и телеги были так малы, как его игрушки. Весь город, все улицы, все дома как будто с удивлением смотрели на Васю; а сам он никогда и не представлял себе ничего подобного: даже не воображал, что он когда-нибудь будет стоять так высоко. Высота имеет чарующее обаяние на человека; но такая громадная высота на ребенка должна была произвести влияние страшное, обхватывающее дух ужасом, но все-таки полное величия и очарования. В первое мгновение дух ребенка объят был каким-то чудным, выпренимым восторгом. С трепетанием сердца, с весельем и страхом обвел Вася удивленным взором окрестность – и ему представилось невиданное и неслыханное, но диво-дивное, во мгновение ока унесшее его в ту область мечтаний, где виделось ему и море, и город. Пред ним в первый раз в жизни развернулась картина, полная величия и красот природы.

Там серебряной лентой тянулась Сибирка-река, там зеленым бархатом раскинулась степь, там в далеком тумане мелькали селения и ярко сверкали белые их церкви. Здесь Царь-река, широкая как море, узорчатая как вышиванье; с серебряными заливами и озерами, с живыми лугами и островами, переметанными желтыми песками, с красно-глинистыми, изрытыми, крутыми берегами и с дальними сизыми и белосияющими горами, – все так было хорошо, что Васе оставалось только повторить: «ах, как здесь славно!»

И когда Вася опомнился от изумления, он скороговоркой залепетал, прыгая и дергая за полу отца: «Тятя, тятя! посмотри-ка, посмотри-ка: вон и мёленка с крылышками, куда мы ездили с тобой к куму-то; вон и кузница, где мы сивку-то ковали; а вон и Сибирка наша; вон плотина, где мы с тобой раков-то ловили; а вон и плоты видно, – какие маленькие отсюда плотики-то виднеются! а вон и озера – вон, вон – где сазанчики-то живут. Все видно отсюда! Ах, тятенька, тятенька! посмотри-ка! посмотри-ка! вон и дом-то ваш! Во-он где сидит – вон! Колодец-то с петушишкой! а крыльчишко-то у Артамона Артамоныча какое маленькое отсюда. Да отсюда все видно до крошечки! как славно здесь! Я непременно, как приду домой, так все и нарисую. Хорошо вот Царь-реку-то нарисовать – какая славная она, точно море какое... с судами. Эх, какие они все пузатые! Что это на них беленькое-то? а?»

– Это паруса, мой друг, – подхватил Павел Кузьмич, задумчиво всматриваясь в окрестность.

– Паруса? а-а! славные паруса! – прибавил Вася в полном раздумье, засмотревшись на обширные степи и на великолепную панораму реки-Царя.

– Ну, пойдем домой, сынок! а?

– Ну, зачем?... погоди, я посмотрю еще... – затащил Вася элегическим напевом, на тот лад, как обыкновенно нищие просят милостыньку Христа-ради. – Эх, Царь-река-то больно хороша, – прибавил он со вздохом, как будто прощаясь с великолепной рекою.

– Ну, сынок, хорошего понемножку; посмотрел да и будет. Давай-ка тебя сюда, – молвил лаконически Павел Кузьмич и, поддерживая Васю за плечи, начал спускаться с ним вниз. Вася, расставляя вилами ножонки, пошаливал понемногу, где было можно, ухал там, где оступался, покрикивал для смелости, где было боязно, и таким образом незаметно дополз до земли.

Всю дорогу лепетал Вася без умолку, делал множество своих ребячьих замечаний, и из всей болтовни ясно было видно, что все виденное им необыкновенно ему нравилось, и что он беседует теперь с отцом в самом лучшем расположении духа.

– Тятя! я вот что скажу тебе, – говорит он, захлебываясь воздухом от удовольствия: – я как приду домой теперича, сейчас и расскажу маме, куда мы с тобой ходили. Больно славно паруса-то!.. Эх, какие!.. так и идут по воде-то бегом! – я и Ване нашему расскажу, где я был с тобой – высоко! – а? – рассказать?..

– Ну, мне что? Расскажи.

– Расскажу и Ваньке-курносику... Тятя! а что это бабушка Сидориха все говорит вон сказку об Иванушке-дурачке? разве Ваня-то дурачок у нас? а?.. тятя?..

– Нету, братец, когда дурачок? он только кажется дурачком, потому что мало понимает; а то когда дурачок? ведь и ты был этаким же...

– Да что же это, тятя, Сидориха-то рассказывает: Иванушка, говорит, дурачок сивку-бурку поймал; и Ионовна тоже рассказывает все об Иванушке?..

– Да ведь это, братец, не об нашем, – это только так сказка рассказывается – из сказки слова не выкинешь: там это ведь о другом Иванушке-дурачке; тот мужик был сиволапик.

– А! ну, я так и думал, что другой, а не наш... Наш умный будет, а не дурачок. – Тятя! я вчера Ване-то нашему подставлял галченка-то голоногого – шустрого-то, что ты все французом-то зовешь; а он его и гладит... Ваня-то взял да и погладил его...

– Ну, этого, брат, не надобно делать – рано еще. Ты погоди, дай вот сперва Ване нашему подрасти немножечко, да поправиться: француз твой мерзавец, он и глаза-то ему повыклюет; так слепым и сделает ребенка... видеть ничего не будет Ваня, – да!

– А-а!.. ну, я не стану француза подставлять к Ване. А вот что, тятя, я хочу... голубочка можно подпустить к нему приласкаться?

– Ну голубочка еще ничего: это птица тихая. Вот когда подрастете с Ваней, я вам и заведу пару голубков немецких; они и будут около вас ворковать.

– Ах! хоть бы скорее, Господи, уж вырасти!.. А вот что, тятя, еще: на Пальмерстона можно садить Ваню верхом?

– Э, нет! это стара-штука, чтобы Пальмерстошка допустил вас ездить на себе верхом, – это, брат, дудки! Ты верно забыл, как он в старые годы на тебя гавкнул? К нему совсем не нужно подходить близко: это собака злобная, – чуть что не по ней, так она опять так вас хватит, что вы и своих-то не узнаете! Да!

– Э-э!.. ну, пожалуй, я уж не стану подходить.

– Да и не советую, если хотите остаться целы.

– Ну, не будем уж...

Так незаметно дошел Вася до дому. Очаровательный Олимп исчез, но не исчезла мысль о нем; она усилила только деятельность ребенка.

Едва успел Вася дойти домой, как-то особенно торопливо сбросил сюртучишко и картуз, которые мешали ему производить задуманные дорогой работы.

Он уже давно забыл намерение срисовать город или рассказать все маме. Пока шел домой, у него явились уже десятки новых планов и желаний.

По приходе, он тотчас размежевал двор, провел прямые улицы, забил кольями заборы, наставил кирпичей, и углем и мелом разрисовал на них окна и двери, и назвал их каменными домами; наклал тут же чурок, и назвал деревянным строением; насадил кругом травы белены с дурманом, и назвал это загородными садами, и даже нагреб в уголок кучку сору, чтоб она издали представляла подгородную Паранькину деревню. И вот, на барском дворе, у хлевушка, на одной квадратной сажени, не более как через час выстроился целый губернский город Сибирь, со всеми его соборами и заборами, монастырями и пустырями, сухими бульварами и мокро-гнилыми тротуарами, по всем правилам топорной доморощенной архитектуры. Но впереди еще много было работы. Вася составил проект непременно скласть и новый свой собственный собор. А как для этого потребно было много материалов, то посмотрели бы вы, как он работал: он сам был зодчий, мастер, каменщик, плотник, водовоз, лошадь! и вероятно думая только о том, чтоб здание было на славу, безо всяких подрядов дворянских и обрезных мест казенных, с улицы, от кухни, с заднего двора, от бани, стаскал в кучу все кирпичи, камни, чурки, склянки, кости, и из всего этого принялся воздвигать громаду.

Работа кипела, за то уж и платье и обувь горели. И вот через три дня собор был совершенно окончен, и не только деревянный крест из лучинок торчал наверху, даже вместо иконостаса был установлен внутри лоскуток цветной зеленой бумаги, с прорезанными окошечками для святых. Оленька и Матюшка, Ванька-рыжий и дети Богдана Иваныча-столяра, все соседние

мальчишки и даже Акулька-босоногая, в виде царицы Савской, – все приходили подивиться на великолепный храм. Все хвалили Васю, – Вася был в восторге. Сам звонил ртом в большой колокол: бумм-бумм! и трезвонил: тилим-пом! Сам возглашал мнимым басом многолетие, сам пел: «Господи помилуй» и «аминь», даже брал на себя исполнять должность дьякона и священника, и всех больше припадал к земле, всех больше ползал на локтях и на коленках, всех больше рвал брючишки и сапожишки.

Вдруг он почувствовал, как будто кто-то обжег его сзади, обернулся, – а мамынька с грозным лицом и плеткой говорит над ним:

– Я тебе запрещаю, каналья, чтоб ты не пел божественного, когда играешь; я тебе, разбойнику, говорила, чтоб ты не смел даже звонить – это не твоё дело; говорила я тебе, или нет?

Вася встал с удивлением и посмотрел в глаза мамыньке.

– Говорила я тебе, чтоб ты не валялся и не рвал на себе платье? давно ли я его чинила? а? Посмотри-ка на себя, на что ты стал похож, оборванец ты этакой? а?..

– Да что, я ведь ничего...

– А-а? ничего еще?.. Ну, так и я ничего...

Вася не успел мигнуть, как мамынька вздела ему на шею хвостик плетки и потащила его, как пленника, заарканенного к себе в избу, привязать к столу на сахарную бечевку, где обыкновенно тиранили Васю, то есть заставляли молчать, не плакать, не чесаться, сидеть прямо, и даже не ковырять в носу. Ужасное положение! истинно ужасное положение для Васи, свободного как ветер и изобретательного на шалости как ветреная жена перед мужем.

А за что? – Да за то: не ходи пузато, не носи двойни! – именно так. На вопрос: за что? здесь, мне кажется, только и можно ответить такой чепухой, ибо и все мы не разрешим вопроса: за что, в самом деле, был засажен на веревку мальчик? – Платье его рвалось, потому что сильно производились работы; а работы сильно производились потому, что сильно производил их дух и тревожная деятельность ребенка; а тревожную деятельность ребенка беспрестанно разжигал сам отец. В чем же виноват здесь Вася? Да какое до всего этого дело мамыньке? – мамынька запрещала Васе, чтоб он не пел божественного? – ну, и не пой; мамынька запрещала Васе, чтоб он не рвал на себе платье? – ну, и не рви! Не послушался мамыньки? – вот и досталось! мамыньке некогда заниматься глупостями: думать еще о тревожной деятельности своих ребятишек, когда у нее и своей тревожной деятельности с излишком: у нее вон и кофей перекипел, да и черти гости опять наехали. Очень достаточно, что третьего дня вечером, после полуночи, утомленная дневной беготней, засела она еще на целые часы и принялась дошивать Ванину рубашонку, да выставлять Васе на колено четырехугольную заплатку, в виде арестантской метки; а Вася уж опять выдрал эту заплату? – ну вот мамынька выдерет за это его самого с досады; потому что мамыньке некогда же заниматься только вечным чинением твоих штанишек: к ней вот опять едут еще гости, опять пить да есть! – Вот за все за это бедный Вася и сиди на цепи по-собачьи! Что делать! мамынька заковала. А за что? – ну попробуй-ка сделать такой вопрос, так, пожалуй, и сам тятя спустит еще шкуру дудкой! – А за что? – Да так – здорово живешь. За то, конечно, что Господь бог сделал их родителями, да отдал им Васю в дрессировку.

На нынешний раз и дрессировка-то была всех разов хуже: Васю даже не спустили с цепи до прихода отца с охоты.

Был уже поздний вечер, когда Евтушка залаял на дворе, голос отца послышался в сенях, – у Васи екнуло сердце.

Как стыдно было ему в эту минуту, как боялся он взглянуть на дверь, в которую должен был войти тятя, как неловко было ему с веревкой на шее (как будто бы он не знал даже причины, за что было дано ему такое украшение на шею); ему даже неловко было взглянуть на тятю, который везде брал его с собой и все ему показывал, который так ясно растолковывал ему, что стыдно и что не стыдно, который, наконец, так нежно любил и ласкал кротких и скромных

детей Ивана Богдановича-столяра и так ненавидел и шугал разбойника рыжего Ваньку, да так шугал, что тот часто летал от него турманом с забора. Все представил себе Вася в эту горькую минуту; представил даже, что он теперь, с веревкой на шее, как будто и сам помахивает на Матюшку-разбойника, и тятя его будет так же ненавидеть и так же шугать.

И ко всему этому еще тяжело ныло сердце этого бедного мальчика: ныло оттого, что на него так осерчала нежная его любящая мама; ныло еще более оттого, что мама ничего с ним не говорила, мама даже грозила рассказать все отцу; ныло оно еще более оттого, что и тятя наконец на него осерчает так же, как милая мама. И вот как будто весь любящий его мир оторвался от его нежно-любящего сердца, и оставался он один-одинокий, не любимый в эту минуту даже и самим тятей, и самой милой мамой! Это ужасно!

После этого раздумья Васе стало еще грустнее, так что он наклонил голову, как будто хотел свой маленький носишко воткнуть в стол или себе в брюхо.

Еще грустнее стало Васе, когда Евтушка, нисколько не предчувствовавший Васиного несчастья, вбежал борзо с ягдташем, лизнул три раза Васю по мордочке, вильнул ему хвостом в знак свидания, и обнюхивая его кругом, еще и веселился.

Еще стыднее стало Васе, когда, вслед за Евтушкой, вошел и сам отец, довольный охотой и совершенно веселый и ласковый.

– А, сынок! ты здесь? Какого, братец, я тебе гостинца принес, – смотри-ка: вот славная такая штука-то! (И тятя выворотил из ягдташа ежа, который пополз по комнате, как барин в зимнем дорожном платье.) А ты, братец, и не встретил меня сегодня? Хорош, голубчик!..

– Да как ему встретить-то? ты посмотри-ка на него! – зарычала сурово сердитая мамынька.

– Ба! это что значит? Ты никак на веревочку зацеплен? а?.. За что это, мать? а? Расскажи-ка, брат!

Вася заплакал.

– А я еще было и гостинца принес, как порядочному человеку.

– Я от него совсем отступаюсь, и вот тебя только ждала: нечего с ним больше биться – ни платья, ни обуви, ничего на него, разбойника, не наготовишься, – все как огнем горят на нем; просто засади ты его, головореза, учиться!

И как страшное слово «засади» с таким скрежетанием зубов прошипела мамынька, что Васю будто sprыснуло холодной водой, так что волосенки поднялись на макушке, и у Васи второпях мелькнула страшная мысль: «этакая беда стряслась надо мной; упрячут верно меня, голубчика, подальше, нежели в острог. Вон как мама зубами-то скыркнула».

А когда отец, снимая долговязые сапоги охотничьи, прибавил: «что же? это недолго сделать: отец вон крестный здесь; попросить его уже – вот и только», – Васю обдало варом и он горько заплакал.

– Ну, а ты молчи, брат, пока цел; не бит еще, так не напрашивайся; а то ведь ты знаешь меня, я, пожалуй, и прутом попотчую как-раз.

Вася знал обычаи отца: наскоро вытер слезы кулаком, чтоб угодить ему, перестал даже всхлипывать, подумывая: «Ведь он любит, когда я слушаюсь, – ну, авось взмилуется и не засадит меня учиться? А то как бы совсем забыл, вот бы штука-то славная, – это еще бы лучше было». И при этом Вася пришипился<sup>8</sup>, совершенно замолчал и языком достал со щеки оставшую слезу.

Но и это не помогло; дело было совершенно кончено. Вечером же Павел Кузьмич передал куму Федосию Лупычу давно желанную мысль – поучить маленько Васю грамоте. А кум был такой злодей против Васи, что тотчас же сразу и сказал:

---

<sup>8</sup> Пришипиться – притаиться, присмиреть, притихнуть.

– Дельно ты, кум, придумал; право, дельно. Я давно и сам хотел тебе посоветовать; что мальчишке повесничать? Наука, брат, как так ни говори – дело доброе.

«Вот, вот он, тот ответ, которого я добивался от кого-нибудь!» – подумал Павел Кузьмич, глубоко вздыхая. – «А в самом деле, что мальчишке повесничать? Ведь он правду говорит, – человек он умный, на ветер слова не выпустит. Попытать никак – приняться уж и мне за мальчишку, – чего еще откладывать дальше?»

И тятя тотчас принялся просить крестного вплотную:

– Пожалуйста, уж, куманек, сделай такую божескую милость, не оставь... Я уж тебе...

– И не прося, кум, нечего тут еще... Ведь ты меня знаешь! Просто приводи его завтра – да и дело с концом. Свои люди – ведь как-нибудь сочтемся.

Тятя после того безответно и глубоко задумался.

– Ну, буди его святая воля!.. – сказал он наконец и сильно махнул правой рукой.

## Глава IV

– Что, брат, промыслил еще?.. Молодец! – говорил утром Павел, похваливая кота Ваську, который волок по избе крысу величиной с борова. – Черт, не кошка!.. – продолжал он, обращаясь к куму Аскалову, с которым уговорился идти вместе на базар: – Одни усищи чего стоят! право, лучше Лешинского, который ездит к господам, – не правда ли, кум? У того как-то, точно лошадиные хвосты, вниз висят по обеим сторонам, а это – с брызгом, канальство! во все стороны так фонтаном и свищут! а!.. и глаза зеленые! шельма-кот!.. – Ну, пойдем.

И полюбовавшись на красоту Васьки с крысой, тятя с кумом ушли.

Вася встал попозднее, покормил своих голубят, остриг даже для разнообразия хваленые усы с брызгом и только было принялся за завтрак, подбрасывая безусому своему приятелю разваренное в мочало клочье говядины, – отец возвратился с базару.

– А что, гостинца-то принес, что ли? – спросил весело Вася, по старой привычке.

– На-ка вот тебе гостинец, – выговорил ясно тятя и при этом как-то особенно ловко выхватил из-за пазухи и козырнул красной азбукой, прихлопнув по столу.

Васю как будто чем-то жегнуло, а он оторопел и осовел.

– Бери да помни, – продолжал отец: – «ученье, брат, свет, а неученье – тьма», говорят люди умные; и при этом уж не забывай и того, что за ученого дают двух неученых. – Пойдем-ка вон к крестному.

– Кись-кись-кись! – раздалось жалобно, и Вася при этом засунул голову под стол, думая хоть ласками к коту нельзя ли отделаться от неотвязчивого тятя с азбукой. Ничего не бывало: тятя тотчас возвысил голос и заговорил покруче:

– Слышишь, что ли? Я ведь не об кошках с тобою говорю, а об учении; ты ведь очень хорошо знаешь, как меня не слушаться: кошку-то я сегодня удавлю, а тебя-то отпорю, тем и кончатся твои кошачьи затеи.

Тятя на этом было и остановился, но, к несчастью, взглянул на кота.

– Вона! ведь этакой ты сквернавец! и когда ты успеваешь сочинять свои гадости? Посмотри-ка: какого ты черта из него устроил? а?.. для какой, например, надобности выстриг ты ему морду? Где у него усы теперича? на что он стал похож? Скажи ты мне на милость, разбойник, когда ты перестанешь у меня озорничать надо всем? Что это такое? а?..

И неотвязчивый тятя выхватил из-под лавки испуганного, ошетилившегося кота, и выставил его, обделанного по моде, напоказ перед Васей, трясая и допрашивая:

– Что это такое? Или тебя только на пакости и держать в доме? Смотри-ка! ведь ты совсем испортил кошку-то!

– Да будет уж... – заговорила тихо мама.

– Что «будет уж?» – Смотри – не жалко ли?..

– Не жалко, а вспомни, куда ты его ведешь? – ответила грустно мама.

– Ну да, чего и говорить! не на виселицу ли его ведут, разбойника? а ты заплачь. Как же! ведь в каторжную работу его хотят – учиться.

– Не в каторжную; а все ребенку с непривычки-то не того... неловко; дай уж ему сначала-то пообглядеться.

– Ну да, побалууй на свою шею: он тебе сядет верхом со временем! – Тятя замолчал.

А Вася безответно стал выползать из-за стола и чуть-чуть не со слезами стал медленно собираться к крестному в ученье. Сама мама взялась его одеть и проводить учиться. Во все время сборов она ободряла сынка по-матерински, вычисляя при этом все великие пользы от знания расейской азбуки, даже развернула перед ним картину: как будет славно, когда он сделается ученым и ей, как маме, первой прочитает всю свою азбуку.

На все на это Вася только сопел, а молчал.

– Ну, с богом, с богом, полно окошеливаться; да харю-то, брат, перекрести, вспомни, куда идешь, – отхватил тятя на дорожку. И вслед за этим мама, вместо лба, перекрестила уходящего из избы сына сзади и вошла за ним проводить его в сени.

Крестный, как управитель и приказчик, жил на антресолях в доме; а родной, как дворецкий, в избе.

Долго-бы мне пришлось рассказывать, почему именно крестный жил в барских хоромах, повыше, а родной в избе, пониже. Достаточно, если в настоящую минуту я очеркну портрет Федосея Лупыча, крестного, и представлю его читателю. Известно, что самый лучший портрет человека пишется теми людьми, которые его окружают. О крестном крестьяне, которыми он управлял, говорили единогласно: «это золотой человек, Федосей Лупыч – такая тишь божия, что не замутишь ее и водой; дай Господи, чтобы и внучатами-то нашими он же правил». Самый староста, который более всех сталкивается с управителем, и тот отзывался о Федосее Лупыче перед барином в таких лестных выражениях: «смирение, батюшка, ангельское, чего уж и говорить; от него не то что брани, а слова-то никогда не дощупаешься, и все единственно теперича, что нет его; – скажет только изредка: «Ха-ра-шо», да и все тут». Старостиха была отменно довольна тем, что Федосей Лупыч не талек ее, ни холстов в руки никогда не брал. Ключница была крайне довольна тем, что Федосей Лупыч яиц у нее не считал. Месячинные<sup>9</sup> были довольны тем, что Федосей Лупыч даже и дров барских таскать не запрещал. Ничем и никогда недовольная дворня была так же довольна тем, что Федосей Лупыч махнул уж на все рукой. Наконец после дворни всей, сама Ионовна, и та оказалась довольна Федосеем Лупычем; она даже хвалила его, называя хорошим человеком, за то, что у него всегда в рожке есть замороженный табак. Сами исправник и становой, и те единогласно свидетельствовали, что крестный – человек исправный, к тому же непьющий и знающий свое дело, даже и по письменному кое-что, а посему и на деревне у него всегда обстоит благополучно. Поп деревенский говорил, что он такого человека и отродясь не видывал; он даже не видывал, чтобы крестный читал какую-нибудь другую книгу, кроме божественной, а святое писание, так, говорит, знает, не хуже меня грешного, и всю Чети-Минею словно проглотил: о чем с ним не заговори, – это, говорит, вот где прописано, да сию минуточку и отыщет. Даже сосед по деревне, и тот отзывался удовлетворительно: и тот говорил, что крестный не зазнаишко, и знает сам, которая спица в колеснице, и всегда стоит без шапочки перед барином чужим, а в воскресенье так даже и с праздником приходит поздравить. Дворня соседская торжественно утверждала, что Федосий Лупыч не только никогда ничего не говорит, а будто и рожден собственно только затем, чтобы всю жизнь свою поздравлять с праздником да сопеть. Поэтому вся соседская дворня и сговорилась называть его «сопелкой», и даже, увидя его, добавляли: «А вон, ребята, сопелка идет с праздничком поздравлять». Самые старухи из соседней деревни утверждали с божбой, что Федосей Лупыч большой божественный грамотей: по этому самому и ходит он так важнительно, как отец благочинный. А для нас он удивителен тем, что, бывши человеком русским, и к этому еще управителем, он не только не пил водки, даже не пил и чаю! Наконец о крестном сам Василий Иваныч отзывался дворецкому Павлу в таких выражениях: «Он, брат, у вас человек грамотный, так ему и книги в руки: ты вот купи там чего понадобится, к столу господскому, а он тебе счетец-то и сведет; ты, поди, я чай, иной раз и над пятаком голову-то ломаешь бог знает сколько, а ему, брат, так и рубли плевка стоят. Я, вон, с позволения тебе сказать, и сам ведь глуповат временем бываю на счетах-то, что прикажешь делать? Иной раз, словно тумана тебе в глаза-то насыдет какая-то, музюкаешь, музюкаешь, черт знает, что выходит, – чепуха какая-то, дребедень; а он, вон присядет только: шелигнет раза два по счетам, у него и готово, как пить даст. А отчего? – конечно оттого, что все-таки ученый человек, хоть он на медцу учился, да бог его вадразумил, значит». – На что Павел обыкновенно отвечал только вздохом или такую

---

<sup>9</sup> Месячина – содержание, получаемое натурой от помещиков за шестидневную барщину.

речью: «Истинную правду взводите говорить, батюшка Василий Иванович; само-собою уж разумеется, что человек грамотный не вашему брату чета – с позволения вашего сказать – олуху царя небесного; что уж и говорить об этом самом».

И безграмотный Кузьмич смиренно покорялся грамотному Лупычу, а в настоящую минуту так даже чувствовал и милость, которую Федосей Лупыч хотел оказать Васе.

Между тем Вася с поникнутой головой, как озабоченный чиновник, и с красной азбукой, вместо портфеля, шел через двор. Тятя, как на смерть, вел его учиться, а мама, желая сердцем благословить его на доброе дело, с рукой, положенной на сердце, стояла в сенях за косяком, и одним глазом выглядывала на медленную походку сына, подумывая: «дай ты Господи, чтоб из этой науки вышло что-нибудь путное». – Ионовна, скорчившись, тоже посматривала из-за плеча мамы, как будто для пополнения картины, и даже на вопрос Анхимыча: «Чего это вы там рассматриваете?» – дрожащим голосом вывела грустно: «Да вон золотого Васеньку повел отец учиться».

А между тем Вася уже тяжеловесно ступил на то крыльцо парадное, на которое сразу и весело вбегал когда-то. Когда-то само бежалось потому, что Вася бежал туда, чтобы поиграть с Жужуткой, получить конфетку, выпить кофею и с удовольствием поглазеть на светлые барские хоромы да послушать приятных барских речей. А теперь? Ну, теперь не бежится. Ноги подкашиваются, когда задумывается Вася о том, что он идет учиться.

А кажется самое обыкновенное явление в жизни человеческой – учиться, и если разобрать подробно жизнь человека, так мы придем к такому заключению, что он от первой минуты его рождения до последней его минуты на земле – всю жизнь учится. Что же это такое значит, что ребенку не хотелось учиться?

«Да верно лентяй будет мальчишка», – решит ценитель, быстрым взглядом оценивающий способности детей. И это, по-моему, справедливо, потому что вечно-закормленный русский мальчик всегда почти неохотно ходит в школу. Справедливее всего конечно укорять русского человека в лености и нерадении; трудно только отыскать в нем причину: отчего у него эта леность и нерадение? Так и в настоящем положении, рассматривая строго состояние ребенка, я не решусь укорить его в лености и нерадении, хотя на самом деле и действительно налегли на него уже леность и нерадение. Посмотрим лучше причины, почему именно не хотелось учиться Васе.

Хорошо осуждать со стороны леность и нерадение ребятишек тем, кто уже выучился почти жить и служить; но каково-то моему милому и живому Васе? Он еще ведь идет только учиться. Да и нейдет еще, а ведут, да и ведут-то куда, если бы вы знали!

Вас, например, кто учил? – уж верно гувернантка или учитель по урокам? Ну вот из этого и следует, что вы ровно никакого не имеете понятия о том, как будет учиться Вася. Да если б даже я и начал трактовать с вами о том: на сколько было живо ваше учение иностранное, и какая ужасная и убийственная мертвечина родное учение Васи, то мне пришлось бы откровенно сознаться в том, что в моем любезном отечестве все хорошо, кроме азбуки, и во всем далеко ушли мы, кроме русской грамоты. Француз д'Аббе хотя и был француз убогий, он все-таки сделал ваше иностранное учение на сколько-нибудь живым и интересным; а Федосей Лупыч самое живущее и самое близкое душе, животрепещущее учение – нашу родимую славянщину, и ту, матушку, таким сделал для Васи трупом, от которого на версту пахнет ленью, скукой, безынтересностью и бестолковостью. Нет, нет и нет, вы даже не можете себе представить, как будет учиться Вася!

Это что за ученье, когда гувернантка пред обедом возьмет вас в сад, да дорогою от скуки выучит с вами шутя пять-шесть французских слов; это что за ученье, когда учитель по урокам, три раза в неделю, как комета с фрачным хвостом, пробежит чрез вашу классную, луной улыбнется гувернантке и опять исчезнет, да и исчезнет-то так, что даже не затронет вашего

детского любопытства, и вы даже не спросите никого: зачем он к вам приходил? – Разве уж напомнит вам его гувернантка же.

Это что за ученье, которое все заключается в сшивании да обрезывании тетрадей, да в вечном линовании и приготовлении их к классу, да в красивом уставливании чернильницы, да в заготовлении тряпочек для учителя, да в размачивании перышков в стакане, да в построении пирамид из книг перед приходом мимолетного учителя по урокам, да разве еще в беготне за грифелями и карандашами во время класса. Это что за ученье? – это все игрушки. У Васи – вот так ученье! Это что за ученье, когда сама «маман» тащится в классную и, прикладывая пуховую ручку к головкам своих любимцев Коко, Жако и Нико, с сокрушением сердца выговаривает: «Мистрис Берк, поведите детей по чистому воздуху». Вот наука, когда сама мамынька говорит тятеньке: «Ну-тка, отец! засади-тка, говорит, его вплотную». А тятенька, из угождения мамыньке, так присадит за науку свое родимое чадо, что тот, бедный, по целым дням не сползает с места, сидя в душной избе, скорчившись над книгой. Вот это ученье! А там что – так, забавы!

Хорошо вам было, когда мистрис Берк, из угождения вашей маменьке, водила вас с утра до вечера все на Конюшенном бульваре по чистому воздуху; хорошо было, что ваша заботливая гувернантка, с учителем так и сторожили, как любопытное небесное явление, стрелку часов, и когда ваши аккуратные немецкие часы еще только ширчали колесами и собирались пробить двенадцать, – вы уже стремглав, вместе с вашей гувернанткой, летели с верхнего этажа в Усачов переулок или на Гороховую пользоваться чистым воздухом перед обедом. Нет, поучились бы вы хоть денек так, как учился Вася, – ну, тогда и вы узнали б, что такое коренная-то наука.

Там не было этих пустяков: «Этот, говорит, часик поучись, да два погуляешь; часик, говорит, за фортепьяно посиди, да два потанцуешь для моциона»; нет, там просто все было на чистоту: захотелось танцевать – танцуй под плеткой; захотелось гулять – гуляй задами по азбуке. Вот это наука! А эти бестолковые часы, которых Вася не понимал и не допытывался – они и в комнате-то висели только для общего беспорядка; вечно с оборванными гирями, вечно с повисшей вниз стрелкой, они уже шесть лет показывали все только шесть часов. Следовательно, здесь на часы была надежда плоха; а как сказала мама утром: «Тебе пора, сыночек, никак и учиться? теперь поел, ступай, голубчик!» – Ну и ступай, голубчик: значит, пора, когда сказала сама мама. А там, как пришел в ученье, сел да приклеился к стулу, перекрестись, как обедня в колокол, да и мели языком до тех пор, пока не придет другая пора: крестный возвратится с базару и, соскучившись слушать чепуху, скажет: «Ну, шабаш; теперь есть, брат, пора, – ступай домой». Хорошо еще, что Вася сам был догадлив: по солнышку иногда стал допытываться – скоро ли отпустят? Да как пошлют, бывало, куда-нибудь крестного со двора, да на беду еще и день базарный, ну тогда уж и солнышко ничего не поможет: так и сиди себе да мели день-деньской до тех пор, пока он не придет по окончании базару. А солнышко еще, как на зло, идет да заглядывает в окошки, как будто с любопытством или насмешкой хочет спросить: «А ты все сидишь, Вася, за наукой?» А после того как будто и поманит Васю на улицу.

Вот оно – то тюремное состояние, которого так боялся Вася! Вот оно – то странное тюремное состояние, о котором с таким скрежетанием зубов говорила глупая мама: «Засади ты его учиться!» Вот оно – то ложное и ужасающее ребенка положение, в которое ставят его глупые отец и мать, по своему невежеству. Со дня рождения у русского человека только три страха, которым пугают его во всю жизнь: в младенчестве страшат буквой; в ребячестве грозят засадить за азбуку, а в зрелом возрасте – сослать на каторгу. Вот оно – то мертвящее состояние, обхватывающее ужасом сердце ребенка, когда его сажают за книгу! – да за какую книгу!.. за какую же глупую, как он сам, и за такую же бестолковую, как все его учителя! – Вот так поучились бы вы хоть неделю, тогда вы узнали бы, что «корень учения горек», как утверждает Федосей Лупыч крестный.

Тогда и у нас заморозило бы сердце; тогда и у вас заковало бы ум, как у Васи в ту минуту, когда он делал первый шаг в училище. Тогда и вы почувствовали бы, что вам страх не хочется учиться, а если идете и учитесь, так собственно потому, что вам велят. Велят от раннего утра вплоть до глубокой ночи молоть тот вздор, которого вы не понимаете сами, которого не слышит с базару ваш учитель и который нестерпимо надоедает и самому учителю, не только ученику! Велят вам сидеть и не оглядываться, иначе вы встретите пренеприятный хвост плетки, торчащий перед глазами вашими отовсюду, из-за спины; велят как болтать языком вечно вздор, похожий на усыпительное журчанье ручья и только разве машинально повторяют над вами ваши бессмысленные учителя: «Читай, читай! что встал рот-от разиня!» Или иногда только для разнообразия добавляют: «Уткни нос-от в книгу!» Вот те пресловутые возгласы, которые – нечего греха таить – слышатся иногда и в наших казенных школах. Вот так поучились бы вы, хоть денек один, тогда и вы поняли бы ясно, что такое коренное русское учение и какая это горькая горечь!

Поэтому очень неудивительно, что мой бедный ребенок Вася так лениво-робко подступал к своему храму просвещения. Сердце человеческое всегда полно предчувствий!..

Вот наконец отворилась стеклянная дверь, в которую вошел Вася с отцом, и перед ним представился наконец этот храм просвещения.

На стенах ключье обой, такое же засаленное и грязное, как полотенца, вывешенные тут же вместо украшений. Два сильно-поношенные жилета, с подкладкой из непромокаемой от поту и сала материи; очень жирные помочи тятеньки крестного, как балыки, вывешенные тут же для провялки; отлично прожаренная в сале теплая шапка, из-под которой еще высунулся, как фунтовая колбаса, палец замшевой перчатки; пропыленный и просушенный насквозь скарб комнатный: перо, да крыло, да метелочка платяная; бутылка с чернильной гущей: тарелка с мухами вместо ягод; жестяная коробка с мылом, и даже чернильница с такой плесенью, как будто мама приготавливалась делать в ней сметану, – все это в крайнем беспорядке, в пыли и нечистоте и еще в мушиных веснушках. Стол, как старый покосившийся поднавес, уставлен был самим Лупычем на трех своих собственных ногах, и на клюке четвертой, как у хромоножки; три прошло-вековые кожаные стула, сколоченные гвоздями вместо бронзовых украшений; еще что-то как будто похожее на вещь, да еще что-то как будто похожее на дрянь; а там тряпочка с голенищем, выглядывающие из-за сундука; а здесь черное белье, завернутое в сахарной бумаге, и обмотанное бечевкой, вместе с кульком, засунуто в пряничный ящик; из того угла выглядывает закопченая печь с заслонкой вечно хилой и обломанной, как все заслоны и двери в барских домах; из этого – поседевшие от пыльной старости стенные часы; там висит какая-то фламандская баринова картонка с вечно разбитым стеклом; тут на полу сидит кот и глубоко философствует над тем же полом. Все это освещено двумя небольшими окнами, до того отделанными мухами в густой серый мрамор, что в комнате становилось темно, как в лесу. Вот и вся полная рама для картины, изображавшей еще вот что:

Высокий мужчина, в длинном сюртуке, воротник и галстук хомутиной, в очках, с большим носом, похожим на архитектурный треугольник, с большими опущенными красивыми веками, похожими на закрытые западни, сидит спокойно за столом и читает толстую книжищу Четьи-Минею, облокотившись на нее двумя могучими локтями.

– Здравствуй, крестник! Что, учиться, любезный, пришел? Хорошо, братец; молодец! – И за этим крестный, перекрестившись, со всего размаху заворотил книжищу, сильно надавил ее сверху и так щелкнул застежкой, как будто раскусил орех.

– Да уж, куманек, сделай такую божескую милость: научи нас, наставь уму-разуму; не забудем твоих милостей, – засеменил родной и поклонился при этом крестному в пояс.

– О чем же плакал-то? Это не годится: умные мальчики не плачут, – отпечатал речь свою крестный, – ты вот с богом клади сорок земных поклонов, да говори за мной так: «Боже в помощь мою вонми и вразуми мя во учение сие».

Вася принялся счетом отмеривать сорок земных поклонов, навзрыд пропел молитву, дошел до *мя*, мякнул так, что отдалось в соседней пустой комнате, и, заливаясь горячими слезами, не договорил остальных двух слов.

Крестный между тем вытащил жернов из кармана, посмотрел на часы, посаженные на цепь, с сердоликовыми печатями, величиною в лошадиное копыто, и с достоинством только крякнул в заключение.

– Ну, ну, плакать-то не об чем; теперь горько, под старость будет сладко, сынок, – говорил родной, наклонившись над головой сына, которую поглаживал и которую хотелось ему обучить книжной мудрости.

– Ну, да, брат, корень учения горек, зато плоды его сладки, – отдернул крестный, причем стащил он с носу очки старого покроя с зелеными ставнями и веревочкой, проходящей по затылку вместо обруча. В очки эти крестный хукнул, как паровая труба, и протерши их кончиком своего носового платка и взглянув еще разок прищуристом в одно стеклышко, принялся опять усаживать их на нос. Потом на обе ладони раскрыв платок, как книгу, приложил к сторонам носа, тщательно высморкался, свернув платок клубком и как птица почистил об него конец длинного носа. Наконец, систематически откупорив синий стеклянный рожок и засучивши обшлаг рукава, медленно натрусил на ладонь табачку, любовно сгрудил ободрительное зелье, указательным пальцем крепко забрал в щепоть, как только было можно, и нюхнул во всю ивановскую.

– Ну, теперь садись, крестись и говори за мной: аз, аз.

Началась переключка на азах. По временам слышно было: «Не так, не так, не то, не то... что ты мелешь, братец? не тяни, не пой... видишь это аз большой, а это аз заглавный, а это аз такой – аз маленький называется». А слезы кап, кап на книгу.

Родной не выдержал, тихонько отворил стеклянную дверь, махнул из-за нее рукой крестному и на цыпочках выбрался вон. А крестный широкой ладонью, как утюгом, разгладил Васе затылок и спину, даже провел по азбуке, у которой топырились кверху новые листки, и добавил вроде ласки: «Что, брат, верно топырился еще от тебя книжка-то? Ну, ничего: это новая-то; она как будто бы этак того... врозь глядит; а то оботрется, обожметса, все по-старому пойдет». – На что Вася только ободрительно крякнул и, фыркнув в нос для ловкости, начал немного на распев: «Аз буку ведаю, како люди мыслете»... и прочее этакое хитро-бестолковое учение.

Что думал ребенок в то время, когда он читал первый урок? Этого определить невозможно. Отец, пришедший с базару, красная азбука на столе, стриженные усы kota, строгое приказание одеваться, особенные ласки мамы, мученическое шествие к крестному, потом его фигура и в особенности жилет с дутыми стеклянными пуговицами, его манеры и речь, толстая книга с подтяжками, торжественная тишина комнаты, важные изречения крестного, горькие дешевые слезы Васи, временные порывы скорей научить буквы, обыкновенное детское желание скорей отучиться, и беспрестанно мелькающий в голове вопрос; да скоро ли в самом деле меня отпустят? – все это до такой степени смешалось, сбилось, сплелось, что Вася решительно потерял сознание, где он, что он, что с ним и как и зачем он здесь очутился, и в такую пору, когда уже пора бы и поесть? Наконец ему стало представляться уже только одно: что он чрезвычайно долго сидит за наукой, до того долго, что ребенок в заключение, переплакавшись и осморкавшись, зевнул и глубоко вздохнул, подумавши, как будто мимоходом: «Какие большие у него сапоги; я думаю, меня всего можно туда засунуть!»

– Ну, что, крестник, – устал, брат? Ну, крестись, закрой книгу, ступай домой да попроси отца, чтобы он сделал тебе указку, – а то вон, как мазилкой, пальцем-то и размазал всю книгу, грязь-то со слезами и смешалась. Да скажи ему, не забудь: «Крестный, мол, говорит: без азбуки и розги учиться нельзя», – слышишь?

Вася не успел даже порядочно выговорить «слышу», схватил скорее со стола азбуку и тотчас же побежал к своему собору. Но собор уже весь был разорен отцом до основания, так

что не осталось и камня на камени, будто после пленения вавилонского. Сам тятя ласково встретил Васю на крыльце, и как будто и не думал разорять собора, поздоровался с ним и научил его прятать красную азбучку на божницу за богородицу, и всегда креститься, когда он будет ее оттудова брать. За этим сам тятя тотчас же отправился в столярную делать указку, а Васе насильно велел поиграть.

Но Вася не мог уже играть свободно. Вася, как старуха, побрел к амбару и, пошаривая у себя в брючных карманах, как будто что-то потерял, сел только на крыльчке да грустно подумал: «А какой у тятеньки крестного славный кот Бурмасака, как он важно все сидит в уголке и глаза прищурил, смотрит в вол, тоже как читает. А калоши-то у него какие большие, как ящики стоят. Ну, надо посмотреть завтра: какая у него картиночка там приклеена». – Фют!.. Азорка!.. ах ты, шельмак: сейчас уж опять и хвостом зазудел. Плясун, шельма настоящий.

Но и Азорка не так уже веселил Васю, как прежде. И им уже не много занялся Вася. И, словом, как будто с первого аза, ребенок уже взглянул на древо познания добра и зла, и вот нежная его мать природа уже мрачит пред ним его прежний прекрасный эдем!

Грустно провел Вася весь день остальной; еще грустней стало ему к вечеру, когда он подумал о том, что завтра опять потурят его учиться, и еще грустнее стало ему к ночи, когда он раздумался о том, как завтра ласковая мама припадет к его головке да скажет ему ласково: «Ты, сыночек, теперь уж ведь съел и яичко, и лепешечку, – ну, золотой, поди же проучись крошечку».

И вот наконец пришло это гнусное завтра, и Васе велели повторить зады; послезавтра опять зады; а там за послезавтром опять-таки зады; так что на Васю запала смертельная скука. Через неделю началось: буки-азба – баба, а через две: мыслете-азма – мама. Вася хотя и стал привыкать к скуке смертной, а все часто посматривал в окно сквозь слезы.

Бывало, сданный ветер; змей Алеши Почечкина так и вьется: трещит, летает весело размашисто, а главное – летает вольно, куда хочет; а Вася сиди только на одном месте, как припиленный к стулу, да все учись да учись! Просто беда да и только! Все это вышло скучнее старушечьего гаданья на бобах, или нескончаемого гранпасьянса вице-директора Звонарева.

Сколько в это ужасное время съел Вася одних указок и сколько просадил он, как близ, и протыкал насквозь, как вафлю, несчастных азбучных листов! – Ничто не помогало: неутомимый тятя будто создан был для того, чтобы вымучивать заучившегося Васю. Указку наконец он сделал костяную и грозил (если эту изложет) заказать кузнецу железную, а об азбуке в последний раз выразился наконец решительно так: «Я тебе просто сошью азбуку кожаную из подошв, если ты не уймешься грызть их, собака! Шутка сказать, – это уж, кажется, седьмая! как на огне горят, и не напасешься на него! Вот ученый подлец навязался!..»

Подите вы потолкуйте с этаким тятей!

Месяца через три все это наконец до того надоело Васе, что у него под навесом составил совет с Ванькой-рыжим, в котором заседал также, как непременный член, и Матюшка-разбойник. Последний, как отчаянный советник, не только подзудил Васю, а прямо с укором и кислой рожей сказал ему в глаза:

– Плох ты, брат, больно, Васька! Размазня ты, кислошерстая дрянь! – вот что. Как бы на меня этак насунулись с ученьем, я бы их отсунул: на подволоке удавлюсь, а уж не дамся учиться, – вот что, да!

«А что в самом деле, – подумал Вася, – что же я-то за кислошерстый такой? Матюшка называет все кислошерстым – врет он. Я, пожалуй, этак и сам попробую, я... что же? пусть давиться нельзя: это боязно, да и умрешь еще, пожалуй, совсем; а отсунуть, что же? Можно. Отчего ж не отсунуть?»

К этому Вася еще вспомнил, что Ванин крестный отец Аскалон Иваныч «кислошерстыми» называет только тех барских гостей, о которых говоря, всегда плевался, как будто говорил о чем-то с очень дурным запахом: «Вот опять эти кислошерстые-то швабры приплелись».

И при этом он так плевал, что Вася, припомнив все это теперь, решительно уж ни за что не хотел быть этакой дрянью.

Он даже встал и крикнул, а после заседания с Матюшкой-разбойником вышел из-под сарая таким смелым и храбрым, хоть бы против Соловья-разбойника, не только бунт поднять против отца и науки. «Вот я докажу вам, какой я кислешерстый!» – шептал Вася.

В простоте сердца, сгоряча он высказал отцу все, чему научил его Матюшка: «Я, говорит, лучше уж в сапожники пойду, бурлаком буду, а учиться не хочу и не стану!» – «Посмотрим», – сказал упрямый тятя и, как видно, посмотрел у Васи зады.

«Подлецы, рыжий дьявол, косою черт, смутьяны, за них терпи все этокое... проклятые! не пойду к ним больше никогда теперь», – ворчал Вася в минуту горькой досады на своих тайных советников Ваньку-рыжего и Матюшку-разбойника. И с тех пор как будто рукой сняло, никакой этакой крутой блажи не приходило ему и в голову. Васю попросту сказать взнуздали ученьем. Поутру читает, как поет – бойко, голосисто, а иногда и зашурившись, для пробы – твердо ли знает наизусть; после обеда пишет такие крючья и загогулины, что просто на! куда к черту все эти, пишущие по праздникам мыслете, письмоводители, гораздо бойчее их!

Когда Вася промахнул кавыку и ерок, и аз первое на десять, и како двадцать, и люди тридцать, и самые мыслете сорок – все прокатил, и стал уже добираться до той страницы, где было прописано: как быть благочестивым и уповать на бога, – тут еще больше стало возни с ученьем, так что решительно некогда у Ионовны и сивку-бурку хорошенько послушать. Только бедный Вася окончит у крестного ученье, не успеет еще хорошенько с Ваней и голубчика понянчить, или проехаться верхом на Шеверюшке, не успеет даже закатить камнем в соседнюю свинью, – родной сейчас привяжется: «Почитай да почитай ему», – видишь, будто скучно одному башмаки шить или бредни вязать. И Вася сиди целый осенний вечер да разбирай по складам, как быть благочестивым. А тут еще и мать пристанет: прочитай и ей, да еще без книги растолкуй, что значит «уповать на бога и любить его всем сердцем»? А тут слушает-слушает да еще и прибавит: «Ничего, сынок, не пойму, что ты читаешь». Вот тебе и растолкуй!

Васю просто замаяли. И ночью ему не спится: уснул бы, и тут мама-то, как днем, ясно видится, да опять со слезами и говорит: «То-то, мой друг, золотой Васенька, вот что в книгах-то хороших пишут, а ты учишь понимать-то это все, да и нас, людей темных, научи!» – Да так живо припадет к Васиной головке, что Васе сгрустнется и он заплачет сквозь сон. А тут и Ионовна видится во сне, и та тоже что-то бормочет о науках разных, да о хороших русских книгах, и та тоже со слезами просит Васю выучиться понимать, что там прописано в хороших русских книгах. Васе жалко маму, жалко и Ионовну, и хотелось бы постараться, да как поймешь? Бог знает ведь, как выучиться понимать, что там прописано в хороших русских книгах? Ничего не поймешь, так-таки ничего и не поймешь в хороших русских книгах! И слова-то там, как ежи да дикобразы, все неслыханные, да невиданные, да непонятные, будто их сейчас только дьячок Парамоныч родил, а Потапыч дурак в воду окунул, да на свет пустил. И Вася об этом обо всем крепко задумывается и с этой крепкою думою скоро и крепко заснет.

А там только встанет, покормит голубят, позавтракает поплотнее, высунет раз-другой Ване язык в утешение, да и пойдет сам учиться, без понукалки уже. Между нами будь сказано: понукалкой в домашнем управлении мама называла не что иное, как плеть.

Давным-давно забыл Вася, где лежит его свайка, продал даже все козны: видишь, будто тому, кто учится писать, не след уже играть в свайку и бабки – руку испортишь, говорит крестный, – ну, Вася и продал все козны Матюшке, по старой дружбе, за пятнадцать копеек – сто шестерок с тройкой. Словом, чрез полгода Вася привык ко всему грамотному и таким сделался беспечным студентом азбучного факультета, что даже с песенками стал побегивать из ученья, да похлопывать себе по руке азбукой, да лягать себя в запятки пятками, совершенно как студент-юрист, ходящий на лекцию, вечно посвистывая и вечно поигрывая тетрадками профессора. А приходя к маме домой в веселом расположении духа, он иногда прилаживался

на корточках перед бестолковым братом младшим и, повертывая перед ним красную азбуку, как удивительную штуку, говорил ему заманчиво: «А у меня вон что есть!» – И в заключение Вася щелкал еще раз языком.

Бестолковый Ваня, начинавший уже кое-что смекать, сперва посматривал на азбуку свирепо, или глуповато, а потом, войдя во вкус и видя что-то красное, так крепко прицеплял ее за ухо и так сильно начинал теревить и тащить себе ее в рот, что новая азбука хрустела и трещала. А Вася с испугу начинал кричать:

– Мама, Ванька-скот азбуку мою съел! батюшки!

Мама, знавшая уже, как достается Васе от отца за азбуку, заговаривала скороговоркой:

– А ты уйди от него, да будь поумнее – не давай ему: ишь он, как теленок, ему бы все жевать только!..

– Да я ведь показать ему...

– Да что казать дураку эти вещи: много он смыслит в азбуке? У него вон своя азбука – каши горшок! Спрячь на божницу и не подходи никогда к нему, пока не бит еще. А то за него отец-от тебе опять приварку задаст.

– Ну, реви, теленок-скот, мама не велела давать! На, вот – гложи козны.

– А ты не брани его; хуже будет реветь.

– А вон посмотри-ка, какой голубочек – видишь?

И Вася подставлял уже брату Ване голубочка, вместо брани с азбукой.

Ваня, засмотревшись на голубочка, тотчас переставал плакать о красной, не попавшейся ему в лапу азбуке, и все трое – дети и мать – оставались довольны собой.

Сделавшись бумажным человеком, Вася и в играх стал употреблять более бумагу, нежели козны и свайку. Конечно не карты, как у нас у всех, у больших людей, а змей, как это обыкновенно бывает у детей. К счастью же Васи, рука его сделалась так бойка и зудка на письмо, что он зараз исписывал целые вороха бумаги, – можно было клеить хоть по десятку змеев на каждый день. А из этого всего и выходило, что маленький Вася, что ни нарисует, что ни напишет, тотчас все это на змей и тотчас все это летит на воздух. А ветра-злодеи, как нарочно, стояли в это лето самые злобные: чуть Вася запустит змей – разбойник-ветер тотчас оторвет витку и унесет сданный змеек черт-знает куда! Васе опять забота: опять клей другой да устраивай путцы да хвост, да хлопочи, да запускай, да еще и на крышу полезай, когда он там засядет. А там: и сам-то боится Вася на крыше, да и мама увидит его, так обомрет да закричит, да и тятя увидит, так оборвет да даст небольшую подзатылилку, да еще, говорит, и припарку задам: «Не лазь по крышам, искалечишься – уродом выйдешь». А посмотрите-ка все это вместе: сколько тут хлопот, беготни! Так целые месяцы и улетают за змеями.

Кончилось все это наконец вот чем.

Отец как-то заглянул в ларчик к Васе, куда он сам незадолго перед тем положил две дести бумаги для письма: бумаги там было только два листа. Отец позвал Васю и начал допрашивать, где бумага. Вася очень ловко рассказал, что бумагу он всю изрисовал и исписал. Отец потребовал тетради и рисунки. Вася открылся, что из тетрадей он все выдирал да клеил змеи и себе и детям Богдана Иваныча-столяра. Не сказал только, что подарил два листика Ваньке-рыжему да четыре отнял Матюшка-разбойник. А не сказал этого потому, что вообще, при допросах отцовских, он боялся употреблять эти знаменитые исторические имена, от которых отец всегда делался сердитее и строже, и уж непременно всегда сам задавал таску. А поэтому и вышло, что тятя не сказал ни слова, так что Вася с удивлением подумал: «Что это он сегодня какой добренькой и не бранится нисколько?»

Вскоре после того Вася, уверивши себя по-ребячьи, что он совсем отделался от следствия отцовского, вытащил последние два листа: один по дружбе подарил Оленьке Почечкину, а из другого смастерил себе славный листовой змей, такой змей, что при одной мысли, как высоко он будет стоять, занимался у Васи дух и трепетало сердце. Мало того, даже наклеил золотую

конфетную бумажку для великолепия, вырезал из старой просьбы гербового орла, да слупил с бутылки шампанского ярлык и все это прилепил на великолепный змей; промыслил даже голландских бечевков, затем, чтоб этот отличный змей никак уж не оборвался. И только было приготовился с ревучими трещотками пустить его на удивление и Оленьке, и Матюшке, и даже симоновскому Петру, который выше всех запускал свои змеи в городе, – вдруг шась на двор будочник, черный, как голенище, страшный и злой, в серой толстой шинели, с медным лбом и с палкой в руке; тигром бросился на змей и безбожно его исковеркал, спрятал сейчас себе за пазуху бечевки подальше и так бойко раскричался на дворе, как никогда не крикивал и сам самарский городничий на пшеничных своих купцов. А кажется еще знакомый был будочник, тятя всегда кланялся так почтительно да говорил ласково: «Велите-с травку посець на улице к царскому дню». А теперь словно белены объелся, даже на заступника Васина, Цепляя, и на того так пригрозил палкой, что тот, бедный, уполз в собачью закуту, оставленную ему в наследство после старика Соколки. Точно будто его и самого спустили с цепи, а не из полиции, так и бросается на все да заграбастывает. Сам нетрусливый Вася – и тот убежал на задний двор, да залез под хлевушок на столбах. Да хорошо еще сделал, что заполз – спрятался, а то просто бестия будочник хотел было и его забрать в полицию. Каково это вам покажется! А полицией нельзя шутить: Вася уж слышал, что такое полиция.

Вот с тех-то пор все так и пошло: как только Вася подумает о том, чтоб запустить змея – рука-то и не поднимается от страху, так что совсем должно было бросить все змеиные затеи. А без змеев еще стало скучнее: поневоле после того будешь только учиться да сидеть.

И живой Вася стал не шутя привыкать к своему мертвому учению, то есть к вечному сиденью за книгой, к вечному качанью, как маятник, к вечному болтанью языком и ногами, как машина, нисколько не сознавая головой, что лепечется языком. Так пригвоздил тятя Васю наукой, что Вася уж и не уползет от этой острожной русской науки! Что делать! Так велел тятя...

Иногда разве, для разнообразия пустынно-мертвого учения, придет наверх барин Василий Иваныч, да погонит опять крестного на ярмарку и в губернское правление по делам, или от нечего делать остановится перед часами, да ткнет маятник, как будто в шею казачка, а маятник начнет опять мотаться и день и ночь. Ну, маятник, признаться, не мало занимал Васю в его ужасной одинокой скуке. Вася по целым часам смотрел на эту простую, вечно мотающуюся машинку и дивился тому, как это все хитро устроено: ткнет его барин – ну, он мотается, и день и ночь мотается; не ткнет его барин – ну, не мотается, стоит; отцепит и положит его барин – ну, лежит на окне, или на полу валяется. Вася даже (когда никого не было в комнате) на цыпочках подкрадывался к этой хитрой машине – часам, все хотелось ему рассмотреть, как это сделал барин? на что прицепил этот вечно мотающийся маятник – на веревку или железо? Он даже ловил иногда этот маятник за голову, он даже сильно его потягивал; но нет, не отрывается – видно крепко барин пристегнул его... И сколько ни смотрел на него Вася, только и видел, что маятник, как живой, и день и ночь все мотается! Только одно и заметил зоркий Вася, что голова у этого маятника в ногах!.. Так больше ничего и не мог рассмотреть любопытный Вася.

Бывало часто, крестного нет дома – на базаре, Вася смотрит на симоновский змей, или вовсе зашурит глаза и от нечего делать, поводя указкой, где вздумается или как рука ведет ее, валяет себе на память: буки-азба – ва-га, добро-ажза! – ка-ла, мыслете-азна – па-ра, слово-анса – сала... Вдруг из соседнего угла слышится ему голос Аскалона Иваныча, крестного Вани: «Ну, у тебя, брат, в этом месте что-то не так выходит – торопишься уж больно». А Вася при-остановится, взглянет и подумает: «Это еще что за учитель появился? Больно зудок!»

А этот учитель был тот самый Аскалон Иваныч, портной, крестный отец Вани, который еще так недавно, с своими лоскутками, утюгами, прасолкой, ножницами, иглками, натыканными в борта жилета и прочим портняжим скарбом, переселился босиком в комнату к крестному. Вася тогда еще заметил, что верхняя губа у Аскалона Иваныча такая толстая, как будто ее

укусила благая муха, а волосы такие жирные, как масляный блин, и так прилизаны на макушке, словно покрыты глазурью или лаком. Вася даже подметил, что портной Аскалон беспрестанно поглаживает голову свою гребенкой, а из гребенки вечно вытаскивает грязь, и гребенку эту непременно кладет себе в карман; Вася также заметил, что у Аскалона Иваныча такой толстый и грубый голос, как у приходского учителя, и такие неуклюжие штаны и сапоги, как у учителя уездного. Вася даже подметил, что и азбуку портной так же не твердо знает, как один учитель истории, по имени тоже Аскалон Иваныч. Вася в первый раз с удивлением и любопытством долго смотрел на то, как Аскалон Иваныч выкусывал шов, как собака блох; еще более подивился Вася тому, что этот простой портной-мужик и невежда, ничего не знавши прежде, слушающая как читает Вася, от него же выучился читать по складам. А еще более удивился Вася тому, что этот простой портной-мужик и невежда теперь уже, как настоящий учитель, не только поправляет его, Васю, а иногда даже и покрикивает на него: «Эк ты, брат, какую чепыжину несешь – врешь!» – так что Вася, вспыхнувши и покрасневши, тотчас и поправляется: ему уж совестно делается, что на него кричит и Аскалон Иваныч портной, мужик простой.

После этого и Вася стал ясно видеть, что ему пора усердно приняться, и принялся. Через полгода он от корочки до корочки, зашурившись, без запиночки стал читать склады, а еще через год, от доски до доски проучил насквозь седьмую азбуку, так что за этим стали было поговаривать и об часослове.

Крестный между тем уехал в деревню, управлять имением Василия Иваныча. Он не был постоянный жилец в городе: он приезжал на время, как ходатай по делам, по базарам и по присутственным местам, от лица самого Василия Иваныча, потому что подобное хождение для самого Василия Иваныча считалось уже слишком грязно и скверно, слишком низко и подло, слишком даже неловко для дворянина, – как об этом выражался сам Василий Иваныч. «Особенно, говорит, вот эти ваши присутственные места: ой-ой уж только! и говорить-то о них совсем не хочется. Только, говорит, я знаю, что тут, да там все сунь, да дай; ну, а как дашь благородному человеку? черт знает, как ему дать? А ты, брат, можешь с ними и по-свойски: сунул им в глотку без зазрения совести, ну и дело с концом. Что на них смотреть? Ведь это уж известное отродье – подьячие, это хапуги! им, брат, лишь бы зацепить как-нибудь человека, а там хоть шкуру долой, вместе с рубашкой, так и ту они вежливо обдерут, да попросят еще: нет ли другой? им все вы по чем. Это ведь уж... ну, да что и говорить о них!»

И вот крестный, приехавший в город на недельку, года полтора прожил только затем, чтобы хорошенько и без зазрения совести сунуть приказным, и отправляясь в деревню – несмотря на то, что был тишь божия, которую и водой не замутишь, при всей своей совестливости и набожности не вытерпел – садясь в ободранный приказничий тарантас, плюнул и, перекрестясь, сказал: «Ну, слава тебе Господи! избавился я наконец от этих всех обдирал! голодные чернильные пъявицы – вот сатанинское племя».

Вася по этому случаю сделался опять свободен, как птица, и начал снова летать по крышам и через заборы, что заметно не понравилось Павлу Кузьмичу. Павел Кузьмич начал искоса поглядывать на грязное и оборванное свое чадо и стал иногда поговаривать: «Исповесничаются весь мальчишка, хоть брось; нет, верно надо опять его приструнить!» И за этим Павел Кузьмич тотчас принялся откапывать нового учителя, как допотопного мамонта.

И вот для дальнейшего образования передали Васю еще и к башмачнику Федору Жбанчику, за два с полтиною в месяц – еще по старому курсу, на ассигнации. Хотя новый наставник Федор Федосеич Жбанчик и сам чувствовал, что грамоту он знает весьма плохо и учить грамоте не может даже и телят, не только ребят, однако все-таки взялся учить Васю, и даже на вопрос Павла Кузьмича: «Не можешь ли, брат, моего большака оболванить немного?» – смело отвечал: «Могим – отчего же?» Впрочем, к ответу такому побудили Федора Федосеича, сапожника, и обстоятельства: во-первых, жил он в соседстве; во-вторых, Васи недалеко ходить; а в-третьих, больно скучно одному кроить и строчить вечное голенище: «пусть, говорит, вместо

колокольчика звенит хоть Вася, все веселее с мальчишкой». А по-нашему, так даже и чтение Васи было гораздо толковее, нежели бестолковая сапожничья песня. Впрочем, Федор Федосеич о новом своем учительском звании рассуждал еще и так: «Отчего же не поучить выношу неразумного? Наплевать: пусть ходит и болтается около меня, пока бог грехам терпит; место есть – сиди сколько хочешь, хоть ночи насквозь; меня же он не укусит, а два с полтинкой все-таки в кармане. Да и кто же нонче отказывается от денег? Разве дурак-дуракович один, да и тот, пожалуй, уж подумает: «Эй, никак взять?»

Так и порешили; с другого же дня Вася по соседству с Азором и Шеверюшкой стал побегивать через дорогу в новый башмачный пансион. Но тут опять вмешалось одно обстоятельство: сам Павел Кузьмич заметил, что наука у Жбанчика шла по-сапожному тугонько, и потому тотчас решил перевести Васю (как обыкновенно переводят учеников из класса в класс) к отцу дьякону.

Ну, конечно, приходский дьякон Гурий Варсонофиев Амаликоиерусалимов – само собою уж разумеется – не был похож на башмачника Федора Жбанчика. Павел Кузьмич был самого высокого мнения об отце-дьяконе Гурии, и так был доволен, что тот взял учить его Васю, что даже с одышкой прибежал домой, и еще с улицы закричал в окошко своей Марфуше: «Нашел, матушка, нашел! Да еще какого человека-то нашел! Просто сокровище!» Мало того, когда бестолковая Марфуша заметила было что-то о дороговизне дьяконского учения, так Павел Кузьмич даже осердился на нее и закричал: «Дура ты баба и есть! Ну, да ты заведи себе в голову-то хоть это: ведь не с бухты же барахту поставили его в дьяконы-то к нам? Пословица говорится: Не учась в попы не ставят; ну, значит и в дьяконы тоже. Уж верно он протер ляжку-то по-солдатски: поди, я чай, в восминарии-то одной, примерно лет пятнадцать высидел, между четырьмя стенами! Ну, так неужели же по-твоему, по-бабы, как вошел он туда, так и вышел оттуда дурак-дураком? Хоть по строчке он зубри в год, так все-таки пятнадцать-то строк знает. Не Федор же он Жбанчик какой-нибудь наконец, все-таки отец-дьякон называется – человек ученый, человек образованный!»...

А действительно ученый и образованный отец-дьякон, как человек просвещенный, взялся учить Васю не просто одной только грамоте; нет, он взялся за двадцать пять рублей, на выучку, обучить Васю всему и даже петь по нотам. А чтобы дело шло ходчее и учиться было веселей, отец дьякон денежки взял вперед. Павел Кузьмич безусловно веровал в отцов попов, дьяконов и монахов, а потому, посоветовавшись с Марфушей, тотчас занял у барина беленькую и с почтением вручил ее отцу-дьякону. А Марфуша с этого же дня начала караулить субботы и в каждую из них стала отсылать к отцу-дьякону свои блины. А мне из достоверных источников известно, что блинам этим отец-дьякон спуска не давал, и даже на скромный субботний приход Васи с поклоном всегда отвечал громогласно: «Го-го-го! опять блины? – давай-ка их сюда».

Дьяконское просвещение Васи началось вот чем: Вася каждое воскресенье стал ходить в церковь, становился на клирос, и стоило только отцу-дьякону толсто выговаривать: «Господу помолимся!» – Вася так выводил за дьячком Парамонычем: «Господи, помилуй», – что сам Павел Кузьмич с умилением думал в эту минуту: «Ай да злодей мальчишка, как он славно выводит!»

Но Павел Кузьмич, несмотря на восхищение, был человек беспокойный: он и тут скоро заметил, что у отца-дьякона все шло только пеньем да пеньем, а главные науки – чтение и письмо – вперед не подвигались; Павел Кузьмич взбунтовался против отца-дьякона до того, что не вытерпел, и самому Васе сказал однажды: «Твой отец-дьякон верно дьячка из тебя хочет сделать; оставайся-ка сегодня дома, нечего туда шататься: ты там все шалберничаешь да орешь, да сапоги только дерешь». Сердце Васи возрадовалось, когда он услышал о том, что наука опять кончилась. И вот, почувствовав свободу, он опять стал действовать так размашисто, что от рубашонок и сапог полетело только ключье. Павел же Кузьмич на это размашистое житье сына опять взглянул искоса, – словом, Павел Кузьмич был из числа тех беспокойных и упрямых

людей, которым если попадет что в голову, обухом не выколотишь. Через неделю он еще отшарил какого-то нового учителя, Асафа Мироныча Бутылкина, по настоящему его ремеслу – сапожника, и упросил убедительно, чтобы тот уж наконец доучил ему сына, как следует, до конца.

– Народишко-то больно нонче бессовестный стал, – говорил Павел, когда они окончательно поладили с новым учителем: – Деньги-то берут, а ребятишек ведь ничему не учат. Шутка сказать: вон отец-диякон двадцать-пять рубликов взял с меня, а спроси-ка его: чему научил он мальчишку? – Петь разве только, а уж больше-то ничему. Ну, а ведь для нашего брата двадцать-то-пять рублей – капитал! их на полу не поднимешь.

– Что и говорить, золотик, конечно... вишь народ уж стал такой, – заключил глубоко-мысленно сапожник, смотря в землю: – до денег-то больно падки, так и трясутся, как кощеи...

– То-то, друг, падки, а это, по-моему, не годится; по-нашему возьми, так возьми за дело, а попусту-то что обирать человека? Это не дело какое; там хоть за труды, – а это что?.. Пожалуй-ста уж, Мироныч, будь отец родной: прошколь хорошенько, сделай милость, я уж тебе того...

– Не сумлевайтесь, я уж... чего тут толковать – это мне дело известное – не первого вашего: вон у меня и Перепелкин старшенький-то учился – ну, тоже остались бабушка с дедушкой довольны так, что-и!..

Таким образом за Васю принялся еще и сапожник Асаф Бутылкин, который верно не читал басни Крылова.

У нового учителя Асафа Мироныча Вася начал закомуристо отхватывать заглавные буквы, величиною в полстраницу, начал даже слегка пробовать себя и по прописи, проучил насквозь часослов, перешел легонько на псалтырь и стал в последней строке пописывать и цифры до десяти.

Павел Кузьмич был отменно доволен новым учителем Асафом. Да чего же и лучше: сапожник вечно сидит на одном месте, а Вася сидит около сапожника; сапожник вечно мурлычит свою песню, а Вася сверчит, как сверчок, свой псалтырь. Иногда разве только для разнообразия сапожник постучит молотком, а Вася в это время молча разинет широко рот и выпишет свой заглавный аз. Самое позевание учителя учеником, и то было удивительно согласно. Стоит только начать раздвигать челюсти учителю – Вася уже разевает рот свой как западню, – и наоборот: стоит только Васе разинуть ротишко и перекрестить его крестом – учитель Асаф уже гамкнул, как волк! Даже в самом разговоре, и то придерживались они какого-то согласного порядка. Если бы вздумалось, например, учителю спросить ученика: «А что, брат, никак уж позевается?» – ученик отвечал, как эхо: «Да-с, Асаф Мироныч, позевается».

– Ну, а что, брат, поэтому не пора ли нам кончить?

– Да-с, Асаф Мироныч, пожалуй, пора уж и кончать.

Словом, когда ни забегал Павел Кузьмич с базару – в качестве штатного смотрителя – всегда он находил в отличном порядке училище Асафа; так что наконец, проходя мимо, он уж только подумывал: «Да что мне их смотреть? Мне уж ведь известно наперед, что там один читает, а другой поет». И весело махнув рукой, он мимо проходил домой.

Таким образом познакомившись на короткую ногу, Вася стал замечать, что учитель его Асаф Мироныч был очень добрый учитель, гораздо лучше отца-диякона. Тот никогда и не думал отпускать Васю раньше вечерен: ударят в колокол – ну и ступай домой, а не ударят – так и сиди да дожидайся вечернего звона. А Асаф Мироныч мало того, что отпустит раньше утром; еще спросит иногда: «А что, брат, Вася, поесть не хочешь ли? Не пора ли уж и домой махнуть?» А иногда так и просто хватит: «Сегодня, – говорит, – брат, суббота – баня, так после обеда можно бы и не учиться; а сегодня, говорит, понедельник, за вениками поедем в лес после обеда, так ты уж не учишь; а завтра, говорит, купанье лошадей после обеда, некогда, ученья тоже не будет». А после завтра, смотришь, скажет: «Не забудь, – говорит, – с тяпкой приходи – капустки нужно порубить, кочерыжек поедим, братец, с тобой». Смотришь, опять целый

день нет ученья! А как хорошенько развозятся с капусткой, так глядишь, не только другого, и третьего денька прихватят половинку. Что же делать? – житейское все: не без капусты же сидеть учителю Асафу, – без капустки жить русскому учителю нельзя. А время между тем идет да идет своим чередом. А там, смотришь, и осень пришлопнула дождями – грязно ходить учиться; а там и зима заворотила с русским морозом – ну, холодно ходить учиться, да темно, да еще день короток; а там и весна пришла и можно бы ходить учиться – уж тепло и светло – ну некогда. Масленица подкатила – нужно блинков поесть; а там и чистый понедельник пришел, – ну кто же учится по чистым понедельникам? – и в казенных-то училищах этот день отдается на баню, да и так-то все в этот день отдыхают после блинов. А там и вторник на дворе – кажись-бы великопостный, самый легкий день для начала ученья – и опять нельзя: сборная ярмарка; суетливо как-то все – некогда! Самый неподвижный человек Асаф Мироныч, сапожник, и тот говорит в это время: «Пойти никак и мне на ярмоночку сбродить» – ну и отправится сбродить на ярмоночку, да так сбродит, что целый день там и болтается. – «Нельзя, говорит, знакомые попадают, поговоришь, кажись, немного, а день-то весь и ушел». А так на говенье мамыньки с тятенькой по недельке отойдет, да на говенье самого учителя Асафа неделька отхватится; а там Васе нужно позаботиться тоже своих прегрешениях, а там страстная, а там и пасха, – так весь год-то и проскочил мимо науки.

## **Конец ознакомительного фрагмента.**

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.